

ДЕТСКАЯ

Анастасия Малейко

Моя мама любит художника

Повесть

Глава первая

Про клетчатое пальто, ванильное печенье, лисью шапку и про то, чего не перечислишь

Сегодня второе октября. Мы идем мимо оперного театра с арфами на крыше. Солнечно и ветрено. Словно холодный подвал открыли и запустили туда солнце. Стоишь в янтарной волне, но согреться не получается, только ловишь лицом солнечную пыль, застывшую в зябком воздухе.

На маме клетчатое пальто и красный берет. Она сжимает в руке бумажный пакет с печеньем, пакет приятно шуршит и пахнет ванилью. Мы только что вышли из кулинарии, где мама долго и тщательно выбирала что-то повкуснее. Это «что-то» она несет художнику. Дело в том, что мама любит художника. Может быть, даже больше, чем меня. По крайней мере, мне она не покупает ванильное печенье.

— Ты похожа на студентку, — выдыхаю я в шарф.

— Что? — ее глаза смеются, а щеки розовые, точно персики, которые мы покупаем на рынке у одного грузина. Грузину нравится мама, он всегда накладывает больше, чем нужно, дарит баклажаны и маленькие приторные дыни. Мама вообще многим нравится. Но полгода назад она выбрала художника. А художников, как известно, нужно постоянно удивлять.

Сегодня утром я проснулась от странного звука. Так скрипели ржавые качели у нас во дворе, пока их кто-то не увез к себе на дачу. Оказывается, это стонали дверцы старого бабушкиного шкафа, пока мама вытаскивала клетчатое пальто. Я его помню только по фотографиям, где она, клетчатая и серьезная, словно учительница, стоит рядом с детским велосипедом. Старая история. Мой день рождения, первый велосипед. Меня, пятилетнюю, долго усаживали, уговаривали, а я все равно убежала, и в кадре остались только мама и велик. Пальто провисело в шкафу десять лет, бабушка даже хотела сшить из него что-нибудь полезное. Интересно, если бы пальто все же превратилось в жилетку или в сиденье для табуретки, чем бы мама сегодня удивила своего художника?.. Стащила бы у меня малиновую толстовку?..

Анастасия Малейко — окончила Челябинский государственный университет, работала редактором, журналистом, радиоведущей. Драматург, пьесы и сценарии публиковались в сборнике «Лучшие пьесы 2012 года» (Москва), журнале «Искусство кино», альманахе «Современная драматургия», входили в шорт-листы престижных международных драматургических конкурсов. Лауреат Международной детской литературной премии имени В.П. Крапивина.

В моих вещах она уже рылась, сказала, что у меня серая, депрессивная гамма. Кто бы говорил. У нее тоже все серое. Не безликое, а благородное. И пальто у нее серое, чуть ниже колен, с огромным стоячим воротником. Я видела старые французские фильмы, там все ходят в таких пальто. Сказала ей про это утром, надеялась отговорить от дурацкой клетки, а она засмеялась — просто ты смотрела черно-белое кино, в которых все выглядит серым.

Мы идем по Васильева. Это единственная улица в нашем городе, выложенная булыжниками. Здесь нет машин, только велосипеды, скамейки и большой фонтан. Так уж случилось, что почти все, что у меня есть, находится здесь, на Васильева. Вот наш дом — трехэтажный, столетний, с высокими потолками и скрипучим паркетом. Совсем недавно он был невезучим заморышем, с зеленоватыми подтеками и вмятинами, но потом что-то произошло, вспомнили про архитектурные памятники, приехало телевидение снимать фильм про всех жильцов. Вообще, мне понравилось. Я даже в школу два дня не ходила, а отвечала перед камерой на вопросы серьезной девушки Тани. Знаю ли я мецената Муратова, который жил в этом доме, общаюсь ли с соседями, справляют ли нужду во дворе прохожие? Я отвечала честно — Муратова не знаю, из соседей дружу только с Кирой Сергеевной из соседней квартиры, нужду, конечно, справляют, а где им еще ее справлять? Туалеты только в кафе, а туда просто так не пускают, нужно хотя бы кофе заказать. А кофе стоит шестьдесят рублей, кто же будет столько платить за то, чтобы зайти пописать? Таня внимательно меня слушала и грустно кивала головой. Потом мы с мамой уселись перед телевизором и смотрели передачу про наш дом. Меня было мало, и как будто совсем не то. Бледным и застиранным голосом я бормотала что-то про соседку и ее пианино, а внизу, под моим лицом, была надпись: «Лина Коваль. Родилась в доме купца-мецената Муратова. Учится в 9-м классе школы № 8». Кто бы мог подумать, но из-за этой строчки у меня сразу поднялся рейтинг. Вика Старцева подарила заколку с бабочкой, Катя предложила записаться в школьную группу современного танца, а Степа крикнул из окна своей черной машины: «Эй, Лина Коваль! Видел тебя по телику! Ну, ты даешь!»

И дом стали реставрировать. Из обшарпанного сундука он превратился в розовую праздничную шкатулку, с белой лепниной и цветами на подоконниках. В общем, свадебный торт, а не дом. Горшки с цветами подарили всем восемнадцати жильцам, чтобы прохожие любовались выставленными в окнах натурациями. И запретили деду Ваганову вывешивать на балконе белье. Мама тогда за него заступилась, жалко ей его стало. Мне, честно говоря, тоже — ну, какой кому вред от того, что он раз в две недели повесит белыми парусами свои наволочки? Оказывается, это портит туристический маршрут города.

Мама рассердилась и говорит:

— А почему же в Риме, в доме напротив Колизея, висят наволочки?!

— Какие наволочки? — тетка из администрации явно не ожидала такого напора.

— Такие! Небесно-голубые наволочки! Висят и сушатся! И никому не мешают наслаждаться памятником архитектуры!

— Не знаю, я в Колизее не была. У них, может, и можно. А у нас нельзя.

Так, вопрос с наволочками на балконах был бесповоротно решен. А наш дом сразу после реставрации, телепередачи и цветов на подоконниках стал элитным.

Все время, пока мы идем по нашей улице, а я, уткнувшись в шарф, пишу самую захватывающую книгу на свете, мама улыбается и шуршит ванильным пакетом.

Мы останавливаемся у двухэтажного старинного здания. Здесь на втором этаже — мастерская художника, а на первом — лавка с картинами, кисточками, мольбертами. Мама поправляет мне шарф, вкладывает в ладонь пятьсот рублей и ныряет в стеклянную дверь с колокольчиком. Это означает

следующее. Ее не будет часа два, я могу ее подождать, гуляя по Васильева, а если проголодаюсь, можно потратить пятьсот рублей в блинной или в кофейне «Марс».

Вместо этого я спускаюсь в подвал «Second hand». Я здесь часто бываю — ищу, чем бы украсить нашу с мамой жизнь. Выбираю долго и тщательно, как костюмер перед новым спектаклем. Меня знают и оставляют особенные вещи специально для меня. Бархатные перчатки с обрезанными пальцами, разноцветные кеды, странные корсеты на косточках, платья, будто выпрыгнувшие из толпы на концерте группы «Абба», старые индийские сумки, расшитые бисером... Себе я оставляю только кеды, остальное идет в мой музей, под который я оборудовала кладовку. Мама иногда туда заходит, когда настроение плохое, или дождь целый день, или просто хочется посидеть в тишине среди полок с причудливой английской обувью, среди полосатых платьев и старых, подбранных мною вещей и безделушек.

Она говорит, что мне нужно стать художником по костюмам в кино или в театре, потому что я вижу в вещах больше, чем лежит на поверхности. А я так скажу. В любой вещи, даже самой маленькой, типа пуговицы, есть душа. Просто многие души, как и люди, спят, и только самые смелые все видят и чувствуют. Они окликают нас, причем довольно громко. Я, по крайней мере, всегда слышу. Вот и сегодня протискаиваюсь к стойке с джинсами, останавливаюсь. Джинсы молчат, висят потухшим тряпьем на вешалках, а над ними, на полке с сумками, лежит она. Рыжая лисья шапка с чуть облезлыми у основания краями. Такую шапку носила Барбара Брыльска в «Иронии судьбы». Мама всегда смотрит в Новый год этот фильм, хотя все там наизусть знает. Ну, и мне приходится смотреть, и я от скуки изучаю в деталях, кто во что одет. Так вот, говорю точно — второго октября в подвале я купила за триста рублей лисью шапку Барбары Брыльской.

Бегу домой, а шапка в пакете радуется, что-то бормочет и похихикивает, будто проснувшийся утром ребенок. На улице стало еще холоднее, солнце ушло. Я бегу навстречу своему розовому дому, оставляя за собой театр, подвал, кофейни, скамейки, магазин с мольбертами и маму с художником.

Глава вторая **О том, что вдвоем с другом есть бабушкины котлеты** **гораздо приятнее**

Стою, не сняв сапоги, в комнате и смотрюсь в зеркало. В зеркале — чуть розовый, еще не согревшийся нос, два карих глаза, а на голове свернулся маленький лисенок. Лоб щекочут ворсинки меха, я смотрю на шапку в зеркале и мысленно пишу наш с ней разговор.

- Ну, как тебе жилось до меня?..
- Да так как-то, не особенно...
- Долго тебя носили?
- Долго...
- В Польше?
- В Польше...
- Сейчас будешь жить у меня.
- У тебя...

Звонок в дверь прерывает наш диалог с рыжей шапкой, она замолкает, а я, не снимая ее с головы, распахиваю дверь. На пороге стоит наша соседка и мой лучший друг — Кира Сергеевна из двенадцатой квартиры. Она замирает так, будто Бетховен, который висит у нее над пианино, вдруг ожил и поселился у нас. Я выжидающе молчу.

- Ты купила себе лису? — слышу я наконец закономерный вопрос.

— Это лисенок, — поправляю я и пропускаю Киру Сергеевну с кастрюлькой в руках в прихожую.

— Прекрасный выбор, Линочка, тебе очень идет рыжий цвет! — я знала, что уж кто-кто, а Кира Сергеевна оценит шапку по достоинству.

— Отличный прикид, — парирую я, имея в виду то, что на Кире Сергеевне сегодня мой подарок, джинсовая рубашка из 80-х, вытертая на локтях до белесых овалов. — Бабушка?.. — киваю я на кастрюльку, откуда пахнет куриными котлетами и картошкой.

— Да, она не стала вас ждать, занесла мне. Ты голодная? Мой руки и садись скорее, пока все теплое, — Кира Сергеевна проходит на кухню, а я снимаю шапку и кладу ее в музей, рядом с черной фетровой шляпой. Пусть знакомятся.

Потом мы сидим с Кирой Сергеевной на кухне и едим бабушкины котлеты.

Бабушка живет за три дома от нас и часто заносит нам всякую еду — банки с борщом, котлеты, пирожки. Она волнуется, что, когда ее не станет, мы с мамой умрем с голоду, потому что готовить не хотим и не умеем. Мы, конечно, с ней соглашаемся, чтобы доставить ей удовольствие, но вообще-то у нас к еде философское отношение. Если в холодильнике есть кефир, батон и яйца, значит, все в порядке. Кира Сергеевна считает так же. Мы с ней вообще во многом похожи. Не представляю, как бы я жила без наших разговоров, чаепитий и обсуждений всего на свете.

— Мама у художника, — говорю я сквозь котлету.

— Хорошо, — отвечает Кира Сергеевна и кладет мне под руку салфетку.

— Не понимаю, что хорошего. Вытащила сегодня утром клетчатое пальто. Вырядилась, как студентка. Побегала к нему, понесла ванильное печенье.

Кира Сергеевна улыбается одними глазами.

— Твоя мама счастливая и влюбленная. Это лучшее, что может случиться с человеком. Когда влюбишься, поймешь.

— Но почему художник? Она что, не могла выбрать кого-нибудь другого для счастья?

— А чем тебе не нравится художник? — Кира Сергеевна разливает чай. Все-таки здорово сидит на ней эта рубашка. Она в ней как хиппи, только цветочного венка на голову не хватает.

Честно говоря, у меня нет ответа на вопрос, почему художник мне не нравится. Вообще-то он симпатичный и веселый. И мама с ним постоянно смеется и подпрыгивает, как школьница. Наверное, я просто ревную — раньше она веселилась со мной. Мы ходили на концерты и в кино. Уезжали по воскресеньям в парк с бутербродами и термосом; лежали на траве до вечера, болтая и сочиняя всякие истории. А сейчас у нее художник.

Я говорю все это Кире Сергеевне, мы пьем чай, а за окном темнеет.

— Может, посмотрим кино? — предлагаю я.

— А уроки?

— Два английских, литература и химия. Английский давно сделан.

— А химия с литературой? — спрашивает для порядка Кира, хотя я вижу, что она уже согласилась.

— Не задавали.

Я убираю кастрюлю в холодильник, мою тарелки, и мы уходим в двенадцатую квартиру.

Глава третья Лучшее место на земле

Моя соседка — пианистка. Точнее, когда-то давно, когда меня еще не было на свете, а мама была маленькой, Кира Сергеевна закончила консерваторию и подавала большие надежды. Ее учитель, известный пианист, которого мы

часто слушаем на старых виниловых пластинках, считал ее самой талантливой студенткой. А у Киры кроме музыки был скрипач. Такой же молодой и талантливый, как она сама. Однажды друг скрипача подвозил его домой, был туман, и их машина врезалась в грузовик. Друг погиб, а скрипача увезли в реанимацию. Положение было серьезным, и Кира загадала — если она не будет знаменитой пианисткой, то ее скрипач выживет. И, пока скрипач лежал три месяца в больнице, она бросила готовиться к концертной программе и устроилась работать в музыкальную школу. Скрипач, конечно, выжил. И даже больше — через год после аварии женился на ее подруге, другой талантливой пианистке, и уехал с ней в Германию. Иногда, очень редко, он звонит Кире Сергеевне, и они говорят о музыке и о жизни. Я однажды спросила у мамы — неужели Кира никогда не пожалела, что бросила тогда карьеру пианистки? Мама сказала — конечно, нет. И что у каждого на земле есть выбор, и что это никакая не жертва, а обыкновенная любовь. И что любовь важнее музыки.

У Киры Сергеевны после скрипача было два мужа. Один — архитектор, второй — хирург. Оба приходят с букетами к ней на день рождения и до сих пор ее любят. Еще к ней приходят ученики, садятся за ее черное старинное пианино, играют гаммы и разучивают пьесы. А Кира сидит на венском стуле в одной из своих семи блузок и внимательно слушает. Я тоже сижу у себя дома, подставляю к стене банку и слушаю. Считаю ошибки.

— Сегодня тот, который был в два часа, сбился три раза, — говорю ей при встрече, демонстрируя свой чуткий слух.

— Это не важно, — бросает она.

— А что важно?

— Чувствовать дно клавиши — вот что важно. Музыка — не фигурное катание, это там считают, сколько раз упал.

Вот такая она, моя лучшая подруга. Мы видимся почти каждый день. Захожу к ней и сразу будто занываю в другой мир. Обычные квартиры пахнут чем-то съедобным. Бывает — чистым бельем, кошкой, мылом или шубами, которые вытащили из шкафа. А у Киры пахнет необыкновенно — старой мебелью, кофе, корицей и духами «Шанель номер пять».

В ее большом шкафу на плечиках висит семь блузок. Белая в черный горошек, темно-вишневая с бантом, бирюзовая, розовая в мелкий цветочек и две белых, с длинным рядом шелковых пуговиц на манжетах. Я распахиваю тяжелые дубовые дверцы и будто вскрываю древнюю бутылку с тайными письменами. Шкаф такой большой, что, если пригнуться, можно зайти внутрь и почувствовать запах апельсиновой кожуры, которую завернули в фольгу из-под шоколада и спрятали где-то внизу. Никто, конечно, ничего не заворачивал, но запах именно такой. Блузки чуть покачиваются и начинают передо мной тихонько сплетничать и вздыхать. Под ними угрюмо молчит старая швейная машинка и обиженно сопят зимние сапоги.

Рядом со шкафом, у стены, темный угол. Здесь мое любимое кресло, маленький столик и торшер. Если надоест сидеть в темноте, можно щелкнуть пластмассовой кнопкой на проводе — и гофрированный абажур вспыхнет, освещая столик с книгами, стакан с остывшим чаем, вазочку с мятными карамельками.

Как-то раз на столике я обнаружила большую черно-белую фотографию. Красивая женщина с длинными волосами полулежит в пальто, а в руках у нее тарелка с макаронами. Я долго всматривалась в лицо, в серые ворсинки пальто, в вилку с намотанными вермишелинами. На мгновение меня осенила мысль, что это, наверное, та самая подруга Киры Сергеевны, что вышла замуж за скрипача. А потом представила себе маму, поедающую спагетти в мастерской у художника в своем клетчатом пальто.

Сегодня фотография снова лежит сверху.

— Кто это? — спрашиваю, пока Кира роется в ящике с видеокассетами.

— Где? А, это! Стефания Сандрелли, итальянская актриса.

Пальто и спагетти сразу потухли, поскучнели, превратившись в реквизит.

— Клод Лелуш? «Мужчина и женщина»? — Кира прищуривается, она явно хочет поднять мне настроение. Обычно, когда не везет и все валится из рук, мы смотрим этот фильм.

— Что-нибудь цветное. И старое, — я сворачиваюсь в кресле, подминая под себя ноги, выключаю торшер, а заодно с ним и черно-белую фотографию на столе.

— Цветное и старое?.. — ее седые пряди выбиваются из уложенного каре. — Между прочим, у меня есть классный фильм с Джиной Лоллобриджидой. Про твою тезку, Лину Кавальери, оперную певицу.

«Классный фильм» — это сказано для меня. Вообще-то она так не выражается. Но что не сделаешь для друга, особенно когда ему грустно и одиноко.

Кира не признает компьютер, поэтому, когда ее выпускники подарили ей ноутбук, она отдала его мне. Правда, когда ей нужно проверить почту или написать письмо скрипачу в Германию, она приходит к нам, открывает белый ноутбук и задумчиво печатает что-то своими музыкальными пальцами. Интересно, что можно писать человеку, который сорок лет назад совершил гнусное предательство и уехал? Неужели можно вот так всю жизнь кого-то любить? Когда-нибудь обязательно спрошу Киру про это. Наберусь храбрости и, глядя в ее стальные глаза, скажу: «Кира, не пишите больше в Германию. Он мизинца вашего не стоит». А она захлопнет ноутбук, посмотрит в окно и улыбнется. И мы пойдем пить чай с крохотными мятными карамельками. Или отправимся в оперный на какой-нибудь балет. Но все это будет в будущем, неизвестно, через сколько дней или лет, а сейчас мы сидим с моей любимой Кирой на диване и разглядываем костюмы, которые Лина Кавальери, точнее, Джина Лоллобриджида меняет в каждом кадре, — длинные юбки, корсеты, платья с длинными гипюровыми рукавами, накидки с капюшонами.

Мама приходит как раз в тот момент, когда Лина и знаменитый тенор поют на сцене. Садится рядом со мной, на подлокотник дивана, и я почти засыпаю на ее плече. От мамы пахнет духами, кофе и сигаретами. Сквозь дремоту слышу, как Кира говорит ей про бабушку с котлетами и про лисью шапку. Мама тихо смеется и тоже что-то рассказывает. Потом я уже не различаю, чей звучит голос — Киры, мамы или Джины Лоллобриджида, — проваливаюсь в сон, и мне снится зал с огромными сверкающими люстрами. Это, видимо, бал, потому что женщины в длинных платьях и мужчины во фраках танцуют вальс. Я стою у стены в лисьей шапке и смотрю на вальсирующие пары. Вдруг среди толпы узнаю Киру в синем наряде, танцующую со скрипачом, и маму с художником. Все молодые, счастливые, и никто меня не замечает.

Глава четвертая

В школу ходят все, даже те, у кого есть в кладовках собственные музеи

Почему утром, если это не воскресенье, все кажется серым и скукоженным? Шторы наглухо задернуты, в комнате темно и холодно, потому что отопление еще не включили. Я зарываюсь под одеяло, оставляя снаружи только нос, и слышу, как мама на кухне наливает воду в чайник и напевает. Тяну последние драгоценные минуты перед тем, чтобы решительно сбросить одеяло, тут же покрыться мурашками от холода, всунуть ноги в тапочки и, натягивая на ходу фланелевую рубашу, заскочить в ванную.

Ну, почему-почему-почему все непременно и без исключения должны ходить в школу? Неужели без этого никак? Я долго об этом думала, и у меня появилась теория. Все дети рождаются счастливыми, и, пока они маленькие, с ними все хорошо, у них мозги чистые, как деревенские колодцы. Они могут болтать с птицами и слышать деревья, смеяться и радоваться просто так, а не

из-за чего-то. Но взрослые — обычные взрослые, а не такие, как Кира Сергеевна, — почему-то думают, что человека кроме радости надо еще многому научить. И учат. И тогда мозги становятся не деревенскими колодцами, а водой из-под крана. И птичий язык уже не понимаешь. И дерево для тебя — просто ствол с ветками, а не старая ворчливая старушка Гертруда, растущая у нас во дворе. Вообще-то Гертруда — это дуб, и я ее не слышала, пока в пятом классе меня кто-то не окликнул. С тех пор мы перебрасываемся с ней словечками. Я ей — что-то желудей у тебя в этом году маловато. А она — лучше бы на себя посмотрела, руки в цыпках, а ходишь без перчаток. Я засовываю руки в карманы и прошу ее не ругаться.

— Лина, ты там уснула? Сколько можно торчать в ванной?!

Вот так всегда. Как только додумаешься до чего-то важного, так обязательно тебя отвлекут. Надо еще решить, что сегодня надеть.

Мама в джинсах и длинной красной кофте до колен сидит перед ноутбуком и, не отрываясь от монитора, нарезает сыр для бутербродов.

— Давай скорее, опоздаешь. Чай уже остыл, — будто и сказать больше нечего утром.

— Вообще-то разрешение надо спрашивать, когда берешь вещи из кладовки, — бормочу я в шкаф, из которого поочередно вытаскиваю плечики с рубашками.

— Ты про кофту? Просто захотелось яркого, а у меня, ты же знаешь, ничего такого нет. Вот, зашла в твой музей. По-моему, ничего, а? Как тебе? — она встает и крутится передо мной красным пятном.

— Нормально. Только непривычно. Тебя на работе не узнают.

— А вот и пусть! Между прочим, тебе тоже можно что-то повеселее, — комментирует она мою черную юбку до колен и серую водолазку.

— Не надо веселее, так в самый раз, — оглядываю себя в зеркало, расчесываюсь и выхватываю из ее рук очередной бутерброд. Все-таки хорошо Кире — у нее семь блузок на каждый день недели, ей не надо думать, что надеть.

— Ты опять взяла мои колготки, — она красит губы красной, в тон кофте, помадой.

— Мои все порвались.

— У тебя рвутся каждый день.

— Я не виновата.

Она молчит, смотрит на меня и вздыхает.

— Ты уснула вчера прямо у Киры на диване. Пришлось тебя будить и вести домой, — говорит она грустно.

— Могли и не будить, переночевала бы у Киры.

— Лин, ты к урокам готова? — мама глядит встревоженно. Мне хочется ее утешить, подойти, обнять, но утром такие вещи практически невозможны.

— Готова, готова, — мы сталкиваемся в прихожей, я влезаю в куртку, она — в пальто, смотримся с разных сторон в одно зеркало.

— Ты похожа на Софи Марсо, — говорю я.

— А ты — на Амели, — отвечает она и обнимает меня за плечи. Так и стоим перед зеркалом, прижавшись друг к другу, перед тем как разбежаться до вечера. Я — в школу, чтобы учиться, она — в редакцию, чтобы исправлять ошибки и вставлять пропущенные запятые.

Глава пятая Про маму

Моя мама — корректор в газете, а корректоры — это такая порода людей, которые даже в самых интересных детективных романах ищут опечатки. И что самое удивительное, находят. Поэтому почти все книги у нас в доме с

загнутыми страницами — это мама так отмечает место, где что-то напечатано неправильно. И ничего не может с собой поделаться — привычка.

У меня с русским тоже проблем нет, это, видимо, в маму, но некоторые слова мне хочется написать не так, как надо, а по-другому. «Сабака» и «карова», по-моему, звучат гораздо лучше и добрее, чем через «о». Или вот почему нужно писать «Отечество» и «Родина» с большой буквы, а небо и дерево — с маленькой? Я бы с большой писала все, в чем есть душа, — и Кирино Пианино, и наш старый Шкаф, и лисью Шапку, и Воду. Мама говорит, что тогда бы вокруг был беспорядок, потому что если в языке нет строгих правил, то и в жизни все идет наперекосяк. А я считаю, все как раз наоборот.

Мамина газета выходит два раза в неделю. Я ее не читаю — там в основном новости, реклама и интервью с известными людьми. А маме приходится читать все — с первого слова до последнего.

— А если скукотища такая, что зубы сводит? Все равно читаешь? — спрашиваю.

— Конечно.

— И ни разу не заснула?

— Если я засну, то пропущу ошибки, и тогда меня уволят.

— Может, тебе лучше стать журналистом? Пишешь себе и пишешь, а кто-нибудь пусть потом запятые расставляет.

— А может, тете Маше лучше стать актрисой? Играла бы себе в кино, а то сидит целыми днями в кондитерской среди ватрушек.

Я тут же вообразила румяную, круглолицую тетю Машу в кино — и засмеялась. Нет, уж пусть лучше она продает нам ванильное печенье и булочки с корицей. А мама пусть останется корректором. Потому что, если бы она не была корректором, она никогда бы не познакомилась с художником и не стала бы такой счастливой, как сейчас. Дело в том, что художник написал книгу, в которой подробно объяснил, как можно легко и быстро научиться рисовать. Рукопись попала к маме, и ошибок в ней было много. Но, как ни странно, мама не ругалась и не забрасывала ручки под стол, как она обычно делает, когда сердится. Наверное, ей было интересно читать. А потом художник принес ей в подарок свою книжку с подсолнухом на обложке. И мы сели пить чай.

Вообще, я давно замечала — все начинается с чая. Когда идешь или бежишь, разговаривать неудобно, и лица не видишь, только профиль. А чтобы пить чай, сначала нужно сесть за стол. И дуть, пока не остынет. И ложкой долго брэнчать, размешивая сахар. То есть можно и в глаза без спешки посмотреть, и поговорить, и помолчать.

Вот люди в кофейне сидят — думаете, они так кофе любят? Нет, им просто поговорить негде и некогда. Поэтому, если разговор долгий, они берут большие кружки с капучино, а если короткий, то — маленькие чашечки с эспрессо.

Мама рассказывала, что в Италии есть совсем крохотные чашки для кофе, на два глотка. Гуляет, к примеру, человек с собакой, и захотелось ему кофе. Заходит в бар и тут же, у стойки, выпивает «чашку-на-два-глотка». А больше ему и не надо, да и собака ждет.

Мама очень любит Италию, хотя ни разу там не была. Раньше, когда интернета не было, она собирала открытки с римскими фонтанами, альбомы с итальянскими художниками, путеводители по Неаполю и Венеции. Сейчас просто сидит перед монитором и любитесь итальянскими видами.

— Лин, давай копить деньги на Италию, — иногда говорит мама перед сном.

— Давай.

— Прилетим в Рим и сразу пойдем в Колизей. И к фонтану Треви. Представляешь, там воду пьют прямо из фонтанов. Она чистая-чистая... — мама зевает, поворачивается на правый бок и засыпает.

А я лежу и мечтаю, как мы будем бродить по римским улочкам, есть пиццу и пить из ладоней холодную римскую воду.

Глава шестая

Грибоедов, шарф и Марков из 10-го Б

— Привет, Коваль из дома мецената Муратова! — кричит мне Степа, как только я захожу в школьный гардероб.

Он приходит раньше всех и садится на подоконник. Иногда приносит с собой гитару и бренчит на ней всякую всячину. Вообще, Степа талантливый. Кроме гитары он занимается фигурным катанием и туризмом.

Я его как-то спрашиваю:

— Ну, и что ты там, в туризме, делаешь?

— В лес хожу на несколько дней, — отвечает.

— Подумаешь, в лес. Мы с мамой тоже в парк ходим на целый день. Выходит, и мы — туристы?

— Нет, вы отдыхающие, — и замолкает.

Если честно, я бы и сама не прочь стать туристом и ходить в лес со спальником и палаткой. Но Степа меня ни разу не пригласил. Зато пригласил Вику, а она отказалась. Про это все знают, потому что Вика не умеет хранить секреты. После той передачи про наш дом она догнала меня после школы и предложила зайти в «Марс» съесть по чизкейку.

Я сидела, ковыряла вилкой белую творожную начинку и смотрела на Вику длинные ресницы. У нее все длинное — пальцы с чуть розоватыми ногтями, прямые блестящие волосы, идеальные ноги. Она похожа на ту итальянскую актрису на фотографии, которая ест спагетти.

— У них там целая компания, в этом турклубе. Ходят по шесть человек. Сначала едут на электричке, потом идут пешком, разбивают лагерь.

— Лагерь? — спросила я, чтобы хоть что-то сказать, а не сидеть молча, как истукан, с тающей во рту сладкой массой.

— Ну да, лагерь. Палаточный. По два человека в палатке, — Вика отправила в рот кусок чизкейка и прикрыла глаза от удовольствия. — Варят там суп на костре, кашу. Едят консервы.

Видимо, Степа очень хотел, чтобы Вика пошла с ним в поход, раз он так обстоятельно и подробно рассказал ей про лагерь и про консервы. Если бы я была парнем, я бы, наверное, тоже выбрала для похода Вику.

Сегодня она в черном — гофрированная юбка до колен и обтягивающая футболка с овальным вырезом. Волосы забраны в тугий блестящий пучок на затылке, до которого хочется дотронуться. После уроков Вика идет в хореографическую студию танцевать танго, поэтому она так вырядилась.

Я сижу позади Степы и вижу, как он бросает на соседний ряд бумажный комок. Тонкие длинные пальцы с розовыми ногтями разворачивают листок, замирают на несколько секунд, а затем пишут ответ и кидают его обратно Степе.

— Лина Коваль, повтори, что сейчас рассказала нам о Грибоедове Катя, — слышу я голос Лилии Викторовны, нашей литераторши, и перестаю следить за летающим бумажным комком. — Ты слышишь меня?

Я, конечно, слышу, но тяну время, соображая, что именно бубнила последние пять минут Катя Вершинина. Медленно встаю, чувствую, как жаркая волна поднимается от живота вверх, к шее и щекам, утыкаюсь глазами в надпись на доске «Грибоедов. Жизнь и творчество». Все, как и полагается, смотрят на меня.

И тут Петька сзади, видимо, из жалости прошептал что-то про масонов и дипломатов. Я набираю побольше воздуха и выдыхаю:

— Грибоедов был масоном и дипломатом.

Взрыв хохота. Я тоже улыбаюсь — мне редко удается кого-то понастоящему рассмешить.

Лилия обреченно обводит всех взглядом.

— А что здесь смешного? По сути, это верно, только очень кратко. Это все, что ты запомнила из доклада Кати о Грибоедове?

Мне ничего не остается, кроме как кивнуть, — не буду же я рассказывать, что следить за перепиской Вики со Степой гораздо интереснее, чем слушать доклад.

Лилия еще обреченнее смотрит на меня и просит Катюшку повторить последнее предложение.

— В начале 1817 года, — бодро начинает Вершинина, — Грибоедов стал одним из учредителей масонской ложи. Летом поступил на дипломатическую службу, заняв должность губернского секретаря Коллегии иностранных дел. К этому периоду жизни литератора также относится его знакомство с Пушкиным и Кюхельбекером...

— «Википедию» наизусть выучила! — крикнул с места Степа, и все опять хохочут.

— Сам ты «Википедия»! Я из разных источников! — срывается Катюшка.

Я сажусь и наблюдаю, как вздрагивают от смеха Викины плечи, как Катюшка сидит красная и надутая, как все расслабленно разваливаются на стульях. Это я устроила праздник. Хотя Лилию Викторовну жалко. Она же не виновата, что мы такие безалаберные. И Грибоедов не виноват. Неплохой, наверное, был человек, раз Пушкина знал.

Наконец, раздается звонок, и мы вываливаемся из класса в школьный коридор. Литература была последней, можно идти и жить дальше.

В гардеробе Степа выхватывает у меня шарф, обвязывает себе шею и начинает дурачиться:

— Грибоедов! Был масоном и дипломатом! — выкрикивает он, как на митинге.

— «Википедию» сначала выучи, потом говори! — кричит ему Вика и хочет, застегивая молнию на своей короткой меховой куртке.

— Ковыль, это все, что ты запомнила из Катиного доклада? — говорит Степа высоким голосом, подражая Лилии Викторовне. — Какой ужас, Ковыль!

— Сам ты Ковыль, — я пытаюсь сорвать шарф со Степы, а он уворачивается и забирается с ногами на подоконник.

В гардеробе образуется толпа десятиклассников, все ждут, чем все закончится. Мне тревожно, хочется убежать отсюда, как от своры диких собак, а ноги каменными столбами врастают в пол. Стою, смотрю снизу вверх на Степу, застывшего в проеме окна, и жду.

— Наша Лина Ковыль, — начинает он с подоконника, — живет в доме, которому более ста лет. Она не знает купца Муратова, зато любит ходить в гости к соседке-старушке и играть собачий вальс на соседском рояле.

Все молчат, а я чувствую, как ладони потеют, а щеки начинают предательски пылать.

— А почему Ковыль? Она же Коваль, — послышалось из толпы, я оборачиваюсь и вижу среди собравшихся Маркова из 10-го Б.

— Да потому что Коваль, — не унимается Степа, — произошло от ковыля, многолетнего степного растения.

— С чего ты взял?

— А что, есть другие версии?

Все застыли и смотрели уже не на Степу с моим шарфом на шее, а на Маркова.

— Коваль — украинская фамилия, и произошла она от слова «ковать». А по-русски было бы «Кузнецова», ясно? А теперь слезай оттуда и отдай шарф, — Марков подошел к подоконнику и протянул Степе руку. Я до сих пор не знаю, хотел он взять шарф или помочь Степе спрыгнуть с подоконника. Наверное, и то и другое.

— Кузнецова так Кузнецова, — пробормотал Степа, слезая, и бросил шарф на скамейку.

Потом все разошлись, и в гардеробе остались только я, Марков и двое второклашек.

— Твоя сумка?

— Моя, — ответила я и подумала, что даже не помню, как этого Маркова зовут.

Мы столкнулись с ним в прошлом году на олимпиаде по английскому, где нам выпало разыгрывать диалог про хобби. Тогда я узнала, что Марков любит футбол и фотографировать.

— Как музей? — спрашивает он, когда мы вышли из школы и направились в сторону оперного. — Пополняется?

— Откуда ты знаешь про музей? А, диалог про хобби! — соображаю я, и мы вместе смеемся. — Пополняется. Вчера купила лисью шапку. Как у Барбары Брыльской в «Иронии судьбы».

— Ты что, смотришь этот фильм?

— А ты нет?

— Приходится, — усмехается он. — А чего он привязался к твоей фамилии?

— Степка-то? Да просто так. Хотел подурочиться.

Мы молчим, а потом я неожиданно для себя произношу:

— Вообще-то он прав. Смешная фамилия. Лучше бы я была Кузнецовой.

— Это что же в ней смешного?

— Все. В третьем классе на лето задали читать Юрия Коваля. «Недопесок». Так меня потом весь год дразнили этим недопеском.

— Я не читал.

— Еще бы. У тебя же фамилия не Коваль.

— А про что там?

— Про песка.

— Ясно, — говорит он, хотя я понимаю, что ему ничего не ясно. — Есть еще Чарльз Томас Коваль. Американский астроном. Слышала?

— Не-а.

— Открыл много спутников, астероидов, звезд и комет.

— Ясно, — говорю теперь я, потому что про астрономию я знаю еще меньше, чем Марков про песцов.

— Ну, мне сюда, — он подает мне сумку, и в этот момент я вспоминаю, как его зовут. «Второе место — Анатолий Марков», — прозвенело у меня в голове из прошлогодней олимпиады. Точно.

— Спасибо, Толя, — говорю я и впервые смотрю ему в глаза. Они удивительного цвета — такой оттенок дает бутылка из-под минералки, когда смотришь через нее на солнце.

Глава седьмая

Ветер в ушах и Старик, который все знает

Если на велосипеде здорово разогнаться, слышно, как ветер свистит и бормочет что-то на своем ветреном языке. Я так всегда делаю — сначала кручу педали, поднимаюсь в гору, а потом просто скатываюсь, слушая ветер. Мимо проносятся желтые и бордовые шевелюры кленов, гордые сосны, мамыши с колясками, усатый продавец воздушных шаров и мороженщица со стеклянным сундуком, до отказа забитым эскимо. Я еду дальше, на свою поляну, туда, где никого нет.

Это место мы нашли с мамой три года назад, когда подолгу бродили по парку, кормили белок и болтали. С тех пор я сюда часто приезжаю, чтобы посидеть и помолчать. Можно это, конечно, сделать и в кладовке, среди моих сокровищ, но стоит мне там присесть и вздохнуть, как тут же начинается гам и болтовня, как у нас на уроке географии. Платья возмущаются, старые ковбойские сапоги задирают свои сбитые, поцарапанные носы, с полки, где раз-

ложены перчатки, доносится причмокивание и шипение. Сажу и слушаю их галдеж, пока не надоест. Потом выхожу, выключаю свет и плотно закрываю дверь. Все сразу замолкают и успокаиваются.

А деревья редко говорят, в основном молчат и поддакивают. Или дремлют, шурша листвой. Гертруда, правда, у нас во дворе иногда высказывает мне разные замечания, но она — исключение. Скучно одной стоять среди домов, вот и болтает.

Сегодня после всей этой истории со Степой и шарфом я решила ехать в парк. Закинула сумку домой, переделалась в джинсы. Пока спускала со второго этажа велосипед, чуть не столкнула Арсения, Кириного лучшего ученика. Тот поднимался по лестнице и, как всегда, о чем-то размышлял. Наверное, о том, как достать дно клавиши.

Арсению десять лет, он длинный и тощий, будто ничего не ест, кроме Кириных карамелек.

— Осторожно, — сказала я ему, когда колесо почти уткнулось в его папку с нотами.

— А, привет, — сверкнул он мне своими очками и снова впал в задумчивость.

Готова поспорить, что он тут же забыл обо мне и моем велосипеде. Это все потому, что у него талант, а талант, как говорит Кира, требует отрешенности.

В общем, доехала я до своей поляны, а там — невозможная красота. Три дерева с ранетками застыли на фоне сосен. Кажется, что их кто-то нарисовал здесь по ошибке, случайно, а потом оставил. Я аккуратно кладу велик на землю и устраиваюсь на большом пне, под одним из деревьев. Над головой и под ногами шуршат листья, а я сажу и думаю про сегодняшний день.

Странно, я совсем не обижаюсь на Степу. Ясно же, что он старался всех развеселить. Просто иногда получается не так, как хочешь, а совсем наоборот. Вика сейчас танцует танго в хореографической студии, а Степа ждет ее у входа, пинает листья и, конечно, совсем обо мне не думает. А я сажу и, как дура, о нем думаю. Вот зачем все так устроено? Почему выходит, что мне нравится Степа, а Степе нравится Вика? Это же несправедливо и запутано! Тогда нужно сделать все по-другому — раз Степе нравится Вика, значит, мне должен нравиться кто-то другой, тот, кому нравлюсь я. Например, Толя Марков из 10-го Б.

Я поднимаю сухой лист, смотрю сквозь него на солнце и изо все сил стараюсь, чтобы Степа мне разонравился, а Толя, наоборот, понравился. Ничего не получается, только еще хуже на душе. Интересно, а Кира проявляла силу воли, чтобы разлюбить своего скрипача? У нее, конечно, все сложнее и больше, но все-таки...

Я встаю, начинаю ходить по поляне, заныривая кроссовками в толстый слой осенней листвы, и вспоминаю Старика. Вот кто бы мне точно помог. Старик, который все знает.

Дело в том, что прошлым летом я работала в библиотеке для слепых. Переносила стопки с полок и обратно, читала вслух книги и журналы посетителям, в основном бабушкам и дедушкам. Молодых тоже приводили, но они обычно читали сами. Открывали толстые книги с точками вместо букв и водили по странице пальцем. Шрифт Брайля — так это называется. Одна выпуклая точка — «а», две точки, одна под другой, — «б», три треугольником — «о» или «э», смотря в какую сторону. И так весь алфавит. Если ничего не видишь, то шрифт надо знать обязательно, без него никуда.

В библиотеке я со многими подружилась. Света даже подарила мне на прощание платок своей бабушки.

— Для твоего музея, — протянула она бумажный сверток. — Мама говорит, он синий, с красными разводами.

— Красиво...

Света никогда не видела красного и синего. Она родилась слепой и знает только, как выглядит черный. Однажды она дала мне свой прибор для письма с грифелем, чтобы я попробовала выдавить между пластинками какое-нибудь слово. Писать нужно справа налево, потому что потом лист переворачивают и уже слева направо трогают пальцами выпуклые точки. Я написала «яблоко». А Света выдала «Лина» и «небо».

Когда до закрытия библиотеки оставалось полчаса, я садилась и слушала аудиокниги — Акунина, «Гарри Поттера», Толкиена. И вот однажды Старик, которого все так и называли — Стариком, велел мне поставить диск с книгой «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Я включила, и мы всю неделю по вечерам вместе сидели и слушали. Молчали.

— Кем хочешь стать? — спросил меня Старик, когда мы дослушали книгу.

— Не знаю пока. Коллекционером, наверное. Буду вещи интересные собирать. Музей открою.

— Хорошо бы еще людей интересных собрать. Это посложнее будет, — сказал он.

Старик всю жизнь проработал учителем в интернате для незрячих. Когда он входил в читальный зал, все замолкали. А библиотекари часто с ним советовались по сложным жизненным вопросам. Он смотрел куда-то сквозь свои черные очки, внимательно слушал и коротко что-то говорил. Он вообще все любил короткое и ясное, наверное, поэтому и подарил мне темно-зеленую маленькую книжку Басё.

— Японский поэт. Самый мудрый из всех. Читай, когда на душе скверно, — так сказал мне Старик на прощание.

А сегодня как раз скверно, поэтому, приехав домой, я прежде всего схватила с полки темно-зеленую книжку и закрылась с ней в кладовке. Открыла наугад. Сто двадцать третья страница. Читаю сверху:

Все волнения, всю печаль
Своего смятенного сердца
Гибкой иве оставь.

— Лина, может, ты выйдешь, наконец, из кладовки? Я не видела тебя с утра!

— Выхожу! — захопываю Басё и кладу его на перчатки. Пусть только попробуют возмутиться — сразу отправлю в большой мешок со старыми тряпками.

Глава восьмая Варенье из ранеток

Сегодня суббота. Варили с Кирой варенье из ранеток. Я привезла из парка полные карманы и капюшон. Привычка класть что-нибудь в капюшон — желеди, листья, красивые камушки. Так вот, пока я вспоминала про Старика и японского поэта, нашла ветку с мятными ранетками, просвечивающими и янтарными. Как будто их сделали из меда и заморозили. Кладешь одну такую на язык и прижимаешь к нёбу — вся янтарная мякоть расплзается по рту, даже жевать не надо.

В общем, я наелась мятных ранеток, а твердые привезла Кире. Мы долго думали, резать их или варить так, целыми. Решили все-таки целыми, с хвостиками. Брала ранетки, аккуратно протыкала вдоль зубочистками и складывала в большой железный таз. Получилось много маленьких красных горошин с хвостиками.

— Яблоки для кукол, — сказала я.

— Точно, — согласилась Кира.

Из вчерашней истории со Степой, шарфом и Марковым она ухватилась только за Грибоедова.

— А ты знаешь, что у него есть два чудесных вальса?

— Нет, я только знаю, что он был масоном и дипломатом, — и еще громче стала мешать ложкой в тазу.

— Сейчас я поставлю, ты должна это слышать! — кричит мне Кира уже из комнаты.

Я слегка на нее обиделась — из всего, что я с такими подробностями выболтала, заинтересоваться лишь Грибоедовым и его вальсом! А потом звучит грустная фортепьянная музыка, все начинает кружиться, и Кира рассказывает мне о Нине Чавчавадзе, Черной Розе Тифлиса.

Оказывается, Грибоедов женился на Нине, когда ей было столько же, сколько мне сейчас, — пятнадцать!.. Через несколько месяцев после венчания его убили в Персии, а она больше никогда не вышла замуж.

— Разве так бывает? — спросила я.

— Все бывает, если любишь по-настоящему.

— А у вас со скрипачом — по-настоящему?

Кира молчит, накладывает в вазочку тягучее варенье с разбухшими ранетками, и я больше ни о чем не спрашиваю.

Дома — никого, мама снова допоздна у художника. Я смотрю в окошко на Гертруду с вытянутыми вверх ветками и о Степе почти не думаю. Перед сном забираюсь на кровать с ноутбуком и набираю в поисковике «Нина Чавчавадзе». Выскакивают картинки с серьезной черноволосой девушкой. Грузинская княжна печально смотрит на меня с монитора и укоризненно говорит: «Ну, как же так. Грибоедов, великий русский писатель, автор двух вальсов, а ты запомнила только про масона и дипломата!..» Ладно, ладно, не сердись, — оправдываюсь я, — конечно, великий. И про масона — это я слишком. Просто вчера был такой день. Княжна молчит, а у меня слипаются глаза. И даже когда я одним ухом слышу, как мамин ключ поворачивается в замке, встать сил уже нет.

Глава девятая Воскресный обед

По воскресеньям я обедаю у отца. Он живет в соседнем доме, но пересекаемся мы только в выходной. Так уж случилось: когда я пошла в первый класс, родители развелись. Не ссорились, не кричали друг на друга, а — раз, и развелись. Так бывает. Просто сначала люди хотят жить вместе, а потом уже не хотят. И нечего здесь трагедию разводить.

Отец преподает в университете зарубежную литературу. Он у меня профессор. С мамой они познакомились на втором курсе. Однажды я от безделья раскрыла толстый «Справочник корректора» и наткнулась на фотографию — молодой папа, с огромной смешной челкой, в футболке и шортах лежит на траве с открытой книгой в руках. Это его обычное состояние.

На пятнадцатилетие он подарил мне книжку с лисьим названием «Улисс».

— Это про что? — спрашиваю.

— Про один день Леопольда Блума, — ответил отец.

— Такая толстая книжка — про один день?! — изумилась я.

— Ну, да. Лучшая книга всех времен и народов. Ты ее сейчас вряд ли поймешь, пока не читай. Годика через три дорастешь, и мы с тобой будем болтать об Улиссе.

В этом весь отец. Зачем тогда дарить, если читать пока рано?.. А болтать со мной об Улиссе — его давняя мечта. Мама говорит, что, когда я родилась, отец облегченно вздохнул и заявил:

— Ну, вот. Теперь мне есть с кем обсуждать Джойса.

Джойс — это тот, кто написал роман «Улисс». Он что, с мамой не мог поговорить об этом Джойсе? Или со своими студентами?

В общем, у нас непростые отношения. Отцу все время кажется, что я мало читаю или читаю совсем не то, что следует. Вот и сегодня, пока я за обе щеки уписывала блинчики с мясом, он серьезно вставил:

— Лина, а ты читала «Над пропастью во ржи»?

Я даже поперхнулась от неожиданности. Хорошо, Евгения Ивановна, папина жена, вступилась:

— Оставь ребенка в покое! Дай ей спокойно поесть!

Евгения Ивановна тоже преподает в университете, только русскую литературу. Еще ей все время кажется, что меня плохо кормят, что я худая и бледная как простыня. Если мы сталкиваемся с ней в магазине или на улице, то она непременно шарит рукой в своей большой сумке в поисках съестного — чтобы меня угостить. А я, как в детском саду, стою и смиренно жду, что она выудит на этот раз — банан, шоколадный батончик или овсяное печенье. Детей у Евгении Ивановны нет, поэтому я не сопротивляюсь, беру гостинцы из сумки и тут же, не отходя, с аппетитом ем.

— Лина, съешь еще один блинчик с мясом, а с чаем возьми вот этот, с творогом, — мурлычет папина Евгения, и я запихиваю в себя поджаристые блинные валики с начинкой.

Все-таки хорошо, что родители развелись. Сейчас у меня две семьи, а была только одна.

— Как в школе дела? Что изучаете по литературе? — отец захлопнул очередную толстую книжку и стал размешивать сахар в стакане.

— Нормально. Грибоедова изучаем, — говорю я как можно более задумчиво.

— М-м, какая прелесть! — оживилась Евгения Ивановна. — Счастливые часов не наблюдают!

— И дым Отечества нам сладок и приятен, — подхватывает отец.

— Свежо предание, да верится с трудом! — продолжает Евгения Ивановна и влюбленно смотрит на отца.

— Мы только биографию проходили, — успеваю я вставить. — Дипломат, масон. Два вальса. Нина Чавчавадзе, Черная Роза Тифлиса.

Они явно не ожидали от меня такой прыти. Оба замолчали и с уважением уставились на мою тарелку. Потом отец протер очки салфеткой и грустно произнес:

— Я был в Тбилиси на могиле Грибоедова и Нины Чавчавадзе, — и снова открыл толстую книжку.

А потом, когда я уже собиралась уходить, у меня заела молния на куртке. Ни туда, ни сюда. Я резко дернула, и она совсем разошлась.

— Петя, ну сделай же что-нибудь! — суетилась Евгения Ивановна. — Не может же девочка идти в расстегнутой куртке!

Петя, то есть отец, сосредоточенно изучал молнию, растерянно бормотал, что сделать ничего невозможно. В общем, мне пришлось идти в пальто Евгении Ивановны. Сейчас уже я была, как студентка, в бежевом, в «елочку», пальтишке до колен, перехваченном на талии широким поясом.

Вышла с пакетом, теплым от блинов. Двор весь в листьях и пивных бутылках. Иду и чувствую спиной, как в окошке застыл отец со своей Евгенией. Все-таки хорошо, что они друг друга нашли. Сейчас, наверное, снова начнут болтать о Грибоедове или о Джойсе. Будут кидаться друг в дружку цитатами и пить чай с малиной. Может, это оно и есть, счастье.

Глава десятая

Иногда кажется, что все понимаешь, а на самом деле — понимаешь совсем не все

Вчера вечером сижу у окна, грызу яблоко и наблюдаю, как соседка с третьего этажа, переехавшая в наш дом после телепередачи, ходит вокруг своего серебристого «мерседеса» и легонько пинает колеса. Проверяет, не сдулись ли. Колеса не сдулись, это даже из окошка видно, а она все равно их пинает. Не знаю, может, она так замшевыми сапогами любовалась. Замша и правда замечательная, оливкового цвета, прижалась к ноге чулком. Я бы такие сапоги поставила в кладовку и каждый день смахивала пыль кисточкой. А Инга — так зовут соседку — колеса пинает. Еще она скупает всякие старинные вещи — тумбочки, этажерки, часы с кукушками — и продает в своем антикварном магазине. Как только Инга заселилась, в нашем подъезде стали шуметь веселые кавказские мужчины. Они то поднимали наверх, то спускали вниз громадные старомодные комоды, трюмо без зеркал и сотни стульев с перекошенными спинками.

Однажды, спускаясь по лестнице, Инга остановилась у двери Киры Сергеевны, сняла перчатки и осторожно позвонила. Ступила оливковой замшей в темную Кирину прихожую и очень вежливо попросила продать пианино. Кира, конечно, отказалась. «Дело в том, дорогая моя, — ворковала Кира, поглаживая кольца на смуглых жилистых пальцах, — что пианино не продается. Это подарок деда — раритет, немецкая сборка, должно быть, около двух веков». Инга расстроилась. Но ненадолго, потому что Кира усадила ее в кресло, включила торшер, и они пили чай с мятными карамельками. Оказалось, что Инга-антикварша была когда-то учительницей математики, пока ее тетке не понадобилось продать шкаф. Шкаф был какой-то совсем не простой, привезенный из Парижа еще до революции. И вот Инга, не зная, какую цену поставить, побежала по реставраторам и оценщикам. А они хитрые, один говорит одно, другой — другое, кому верить — непонятно.

— И пришлось ей во все вникать самой, — рассказывала мне Кира. — Как различать породы дерева, как определять возраст вещи, как правильно реставрировать. Так с тех пор и занимается этим антиквариатом. Бедная девочка...

— Это почему же бедная? — спрашиваю я, припоминая замшевые сапоги у серебристого «мерседеса».

— А ты видела этих мужчин?..

— Каких?

— Ну, этих... По лестнице — туда-сюда, туда-сюда... — Кира дирижирует рукой вверх-вниз, показывая, как мужчины перемещаются в нашем подъезде.

— Грузчиков, что ли? Ну, видела. А что в них такого?

— Они же ее разорят! Это какой же надо быть дурочкой, чтобы нанять их в работники!

— Работники — это рабы. А они — сотрудники. И что в них плохого? Они, наоборот, добрые и нежадные. Когда мы ходим на рынок, там всегда взвешивают больше, а в овощном магазине — меньше!

На это Кире возразить нечего. Она сама часто маме жалуется на продавщиц из овощного. И просит меня взвесить на ее весах кочан капусты или мешок с морковкой.

— Бизнес — это не женское дело, — сдается Кира. — Лучше быть учительницей математики.

— Или корректором, — говорю я.

— Или... художником! — воодушевляется Кира. — Ты знаешь, что у него скоро выставка?

— У кого?

— Ну, не у меня же, Лина! У Игоря, конечно! Тебе что, мама не сказала?

— Нет.

Кира молчит, поправляет свое голубоватое каре, а потом спешно собирается по срочному делу. Я сижу, хмуро наблюдаю, как она натягивает толстый свитер, а в голове стучит, как в поезде по рельсам: «У И-го-ря вы-став-ка, у И-го-ря вы-став-ка, у И-го-ря вы-став-ка...»

— И все-таки что вам не нравится в мужчинах кавказской национальности? — наконец, закипаю я.

Кира, уже одетая, оборачивается и пронизывает меня вместе с табуреткой стальными стрелами.

— Кавказской национальности?! Откуда это у тебя, Лина? Откуда ты взяла эту пошлость?!

— Ну, вы же сами говорили, Инга — бедная девочка, и эти мужчины ее обворовывают...

— Конечно, говорила. Потому что я слышу, что они болтают на своем языке. Как бы побольше накинуть за этаж — вот о чем они тра-ля-ля! Да еще ругаются!

— Вы что, знаете грузинский язык?

— И грузинский, и азербайджанский, Линочка. Не забывай, что мой первый муж родился и вырос в Тбилиси. Мераб — настоящий горец! Он научил меня готовить хинкали! — и она подняла свои идеальные брови. — Ждать здесь. Никуда не выходить. Поставить чайник. Я — за эклерами.

И, орудуя длинным черным зонтиком, как тростью, моя Кира вышла из квартиры.

А я осталась сидеть, думать про Ингу, дядю Мераба и про выставку художника, про которую я почему-то ничегошеньки не знаю...

Глава одиннадцатая

Как мы искали облака и ели сосиски

Оказывается, в мастерских у художников пахнет спиртом и свежеевыкрашенными окнами. И этот запах никогда не выветривается. Как они там дышат да еще умудряются картины рисовать, ума не приложу. В общем, во вторник я попала на второй этаж магазина с мольбертами. Дело было так.

На уроке английского позвонила мама. Она всегда звонит во время урока, потому что не знает расписания звонков.

— Жду тебя после уроков у фонтана, — пропела она в трубку, и все наши подозрительно на меня уставились.

— Что случилось? — попыталась я заглушить собственный голос, хотя это было бесполезно. Вера Георгиевна взяла паузу и выразительно ждала, когда я закончу разговор. Но мама не видела Веру Георгиевну и продолжала весело петь:

— Ничего не случилось, просто сюрприз! Пойдем в интереснейшее место!

До конца уроков я просчитала все варианты, куда мы можем пойти. В парк — холодно. В кофейню «Марс» рано, мы ходим туда только в день маминой зарплаты. Усаживаемся за столик у окна, заказываем большой чайник брусничного чая и яблочные штрудели и сидим, пока за окном не стемнеет, разглядывая людей на улице. Это у нас называется «сочинять персонажей». Я обычно выбираю старушек в маленьких черных шляпках, придумываю им истории — где живут, сколько у них внуков, о чем любят говорить. Мама сочиняет про невзрачных носатых мужчин, которые у нее всегда оказываются нотариусами или бывшими разведчиками. После вечеров в «Марсе» волосы и пальцы пахнут кофе и корицей.

В общем, когда я после школы добежала до фонтана, я и представить себе не могла, куда мы пойдем. Мама, с улыбкой Софи Марсо, в клетчатом пальто,

в берете и новеньких вишневых перчатках, была неотразима. Она тут же мне сообщила, что идем мы в мастерскую к художнику, что через десять дней у него выставка и он просит помочь отобрать картины.

Так я оказалась посреди большой квадратной комнаты с запахом свежей краски, растворителей, спирта и лакированного дерева. Картины стояли у стен, лежали на полу, а Игорь-художник ходил туда-сюда и недовольно их осматривал.

— Так, давайте поделимся, — вдруг громко сказал он. Или мне показалось, что громко, — просто в этой комнате любое слово звучало очень значительно. — Лина берет на себя угол с розами, Аня — стену с лодками, а я — все остальное. Согласны?

— Согласны! — решительно воскликнула мама, которую Аней называла только бабушка, да и то в детстве, все остальные — Анной или Анной Викторовной.

Я встала в свой угол и начала критически изучать каждый лепесток на сероватых холстах. Если не приглядываться, то это были совершенно одинаковые розы — по одной штуке на картину. Но как объяснил Игорь, в этом и была загадка «розовой серии» — показать, что цветов, как и людей, одинаковых не бывает.

Я отходила на три метра назад, подходила вплотную и никак не могла выбрать двенадцать роз из девятнадцати. Это оказалось потяжелее, чем выискивать в подвале вещицы для музея. Мама в это время сидела на стуле перед «лодочной серией» и выбирала десять перевернутых лодок из пятнадцати. С лодками была та же история, что и с розами, — вроде бы одинаковые, а присмотришься — разные.

— Может быть, оставить все пятнадцать?.. — услышала я мамин робкий голос. — Они все хороши, выбрать невозможно...

— Если бы можно было пятнадцать, я бы не просил тебя выбрать, — опять громко прозвучал художник. — Смотри лучше. Вглубь. В самую сердцевину. И сразу увидишь лишние холсты.

Тогда я подумала — хорошенькое будет дело, если мы не сможем ему помочь. И стала смотреть вглубь, в самую сердцевину. Поднимаюсь по стеблю и останавливаюсь на темно-красном бутоне. Гипнотизирую его, пока лепестки не начинают сами по себе вздрагивать, словно от ветра.

Так я узнала секрет «розовой серии». Только двенадцать из девятнадцати розовых бутонов могли еле заметно дрожать. Остальные семь были обычными нарисованными розами. Интересно, а Игорь так же проверял их? Откуда он взял, что настоящих только двенадцать?..

— Ну, что тут у тебя, — подошел Игорь, когда я составила двенадцать живых роз в одно место. — Хороший нюх, — повеселел он. — У тебя есть способности.

— Они просто живые. А те — нарисованные, — говорю я.

— Да, пожалуй.

— А как быть с лодками? — спрашивает мама. — Тоже искать живые?

И мы пошли к стене, где пятнадцать лодок лежали вверх днищем на песке.

Я сразу стала действовать, как с розами, — останавливаюсь перед каждым холстом и ввинчиваюсь взглядом вглубь. Не знаю, чего я ждала. Может, жук из-под лодки выползет или чайка сядет на правильные лодки. Но никто не выползал и не сажился. Никакого шевеления, только на песке поблескивает речная галька. И пахнет уже не краской, а рекой и водорослями.

— Мне нравятся те, где небо темнее, — говорит мама. — Но их только шесть.

Я стала смотреть на небо. На одних картинах оно было светлым, на других чуть темнее. И тут я увидела облако. Даже не облако, а две волнистые линии, еле заметные, будто их нечаянно посадили на голубой фон.

- Смотрите, облако! — воскликнула мама. — Я его раньше не видела!
- Где? — спрашивает Игорь.
- Да вот же! Две черточки, прямо над лодкой!
- А, это. Да, что-то похожее на облако...
- Что значит похожее? — встрепелась мама. — Это кто рисовал — ты или не ты?!
- Я. Но не помню, чтобы рисовал эти линии.
- Что же они, сами здесь появились?
- Не знаю. Смотри, они же на всех пятнадцати картинах, а мне нужно десять.
- Значит, возьми все пятнадцать!
- Зачем?
- Ну, облако же везде есть, вот и возьми все!
- Да при чем здесь облако? У меня места не хватит на пятнадцать лодок. У меня же не галерея, а мастерская!
- Тогда зачем ты рисовал пятнадцать, если надо только десять?
- Хорошо, в следующий раз нарисую десять!
- И тут меня осенило. Нужно взять холсты с плывущим облаком. То, что оно где-то плывет, а где-то стоит на месте, я не сомневалась. Это, как говорит Кира, из разряда необъяснимого. Когда тебе кажется, что точно знаешь, а доказать ничего не можешь, будь уверен, тебя посетил «разряд необъяснимого». Делай то, что этот разряд подсказывает, и не ошибешься.
- Давайте искать облака, которые плывут, — говорю я.
- Плывут?.. — спрашивает с сомнением мама. — Как это?
- А вот так, — говорю, — смотришь на лодку, потом на облако. Если поплывет — значит, надо брать.
- Давайте попробуем, — говорит Игорь. — Все равно идей больше нет.
- Только надо уши руками зажать. Чтобы посторонние звуки не мешали, — командую я для важности.
- И сразу ладонями уши закрыла. Мама с Игорем посмотрели на меня, потом друг на друга — и тоже руки к ушам приложили.
- Стоим, на лодки смотрим. Тишину слушаем. Точнее, не тишину, а шум. Будто где-то вдалеке дождь идет или море шумит, а ты сидишь на даче, тыквенные семечки перебираешь. Вот и стемнело уже, а там, вдалеке, все шумит и шумит...
- Первое облако поплыло у мамы.
- Плывет! — закричала она и захлопала в ладоши.
- Где?!
- Да вот же! Вот на этой! Я смотрю, смотрю, а оно — раз, и поплыло! Ме-е-дленно!
- И тут же поплыло у меня — да не на одной, а сразу на двух картинах! Параллельно!
- И у меня! — кричу. — Здесь и здесь! Сразу два!
- Еще одно плывет! — не унимается мама. — Крайнее!
- Ну, вы даете, — расстроился Игорь. — А у меня ничего не плывет. Может, у меня воображения нет?..
- А ты уши хорошо закрывал? — деловито интересуется мама.
- Конечно.
- А в глубину, в сердцевину смотрели? — наседаю я.
- Да вроде старался, как мог... А вот здесь, кажется, — говорит он и неуверенно приближается к лодке напротив. — Или показалось... Вам не кажется, что оно... как бы... движется?..
- Конечно, движется, — говорю. — Видно же! И на соседней тоже поплыло — видели?
- Точно! — радуется Игорь. — Но это же невозможно! Может, у нас галлюцинации?

— У всех троих? — строго спрашивает мама.

— Ну, не бывает же так! Это же просто холсты! Лодки, небо, песок — это же все нарисованное! — и он подошел к стене и стал заглядывать под картины. Уж не знаю, что он там хотел найти.

— Значит, правильно нарисованное! — говорит мама. — Ой, вон там еще, смотрите, только что поплыло!

Так мы насобирали десять живых лодок с плывущими облаками.

Художник так радовался, что сбегал в ближайший киоск, купил сосисок в тесте. Десять штук. Он, оказывается, как и мы, не умеет готовить и покупает всякие вредности.

За окном было уже темно, а мы сидели в мастерской посреди живых роз и влажных лодок, ели сосиски и смеялись. И краской уже почти не пахло. И было хорошо и спокойно, как на кухне у отца с Евгенией Ивановной. Хоть и без блинов.

Глава двенадцатая

Пирожки с капустой, или Операция «Туфли» проведена успешно

Когда бабушка приносит пироги, да еще с капустой, значит, она хочет со мной поговорить. По душам. Я, слоняясь по комнате, ем четвертый пирожок, а наша Галина (так мы с мамой называем бабушку) усаживается в кресло-качалку, тихонько поскрипывает и начинает.

— Ты долго будешь всухомятку-то есть? Сядь за стол, налей молока! Ты же себе гастрит заработаешь!

— Не, не заработаю, сейчас все так едят.

— Как это все? — удивляется она с кресла.

— Ну, все. Скорости, понимаешь, большие. Не успевают. Приходится на ходу.

— Скорости... Ну, возьми хоть кружку в руку и ешь себе на ходу!

— Ладно, — сдаюсь я.

Иду на кухню, наливаю молоко, беру еще один пирожок и снова слоняюсь по комнате. Один ноль в пользу нашей Галины.

— Может, сядешь все-таки? — бабушка у нас упорная.

— Ну, баб, — останавливаюсь я с кружкой.

— Ну, что баб, что баб? Не надоело мельтешить-то? У тебя же не усваивается там ничего!

— Еще как усваивается, — бормочу я, но сажусь.

Два ноль.

Бабушка перестает скрипеть креслом и вздыхает. Значит, сейчас будет серьезный разговор.

— Линуль, — говорит она жалобно.

— М?..

— Ну, ты бы рассказала хоть, как мать-то? Как у них там с художником-то, а?

— Да вроде нормально, — говорю я и тоже почему-то вздыхаю.

— Нормально. Все у вас всегда нормально. А что он за человек, ты не знаешь?

— Нормальный, — бабушка смотрит на меня, как болельщик на вратаря — с надеждой и верой. — Ну, хороший человек, баб. Ты не переживай.

— Как не переживать-то, Лин? Он, может, сейчас хороший, а потом не очень хорошим будет! Отец вон твой тоже отличник был, цветы носил, конфеты, а как ты родилась — как отрезало. Диссертацию ему подавай — и все тут! А с коляской гулять, сумки таскать — это уже его не касается, он у нас ученый! — и Галина хмурит брови, изображая отца. Кстати, очень похоже.

— Диссертация — тоже важное дело, — неожиданно я встаю на защиту. — Вот он профессором стал. А если бы со мной нянчился, то, может, и не стал бы.

— Много ты понимаешь! Профе-е-ссором! Вчера видела профессора нашего. В продуктовом. Под ручку со своей Клавдией — ну, просто пара белых лебедей!

— Она не Клавдия, а Евгения! — смеюсь я, потому что бабушка умеет смешно сказать, особенно про отца.

— Хватит смеяться-то! Встань с кровати! — кипятится Галина, а сама тоже еле сдерживается. — Кружку прольешь! Линка, перестань!

Потом мы смеемся уже по-настоящему, вдоволь. Я встаю и начинаю изображать, как ходят под ручку два лебедя. Бабушка вносит поправки, не вставая с кресла.

Ей обидно, что отец не остался один после развода, как мама, а нашел себе Евгению. После каждого моего воскресного обеда она звонит и между делом интересуется:

— Ну? И чем тебя кормили на этот раз? — и после моего подробного перечисления, хмыкнув, вешает трубку.

После нашего веселья бабушка пьет валидол и грустно спрашивает:

— Ты его хоть видела, художника-то этого?

— Конечно, видела! — отвечаю.

— Как он из себя? Симпатичный?

— Вполне. Даже, можно сказать, красивый. Розы рисует, лодки.

Не зная, как еще представить художника с выгодной стороны, неожиданно добавляю:

— Сосиски в тесте очень любит.

— Сосиски?.. — недоверчиво переспрашивает бабушка.

Мы не смогли продолжить тему сосисок, потому что в этот момент пришла мама, позвала меня на кухню и тихонько так, загадочно говорит:

— Ты знаешь, я сейчас возвращаюсь с работы, иду мимо мусорных контейнеров...

— Да?..

— А там, около мусорки, коробка открыта, ее выбросили, — произносит мама мятным голосом, и в глазах у нее бегают маленькие лисята.

— Ну?..

— Так вот. Я так, не торопясь, иду и совершенно случайно смотрю, что там, в коробке...

— Котенок! — не выдерживаю я. — Живой и пищит!

— Нет.

— Щенок!

— Да что у тебя за фантазия — котенок, щенок, хомячок! Почему там должно быть что-то живое? — мама волнуется и покрывается розовыми пятнами. С ней это всегда, только разволновалась — и от шеи до лба расплзаются алые круги.

— Что тогда там? — я тоже начинаю волноваться из-за этой коробки.

— Туфли! — выдыхает мама.

— Туфли?

— Туфли! — сияет она и откусывает пирожок.

— И что? — не понимаю я и тоже откусываю пирожок.

— А то, что это не обыкновенные туфли, а с ума-сойти-какие! Они черные, на тонком каблуке, с серебристыми полосками!

— Да? А зачем тогда их выбросили? Они старые?

— Новейшие! — мама тщательно пережевывает пирожок и выразительно смотрит на меня.

— Что?.. — говорю я.

— То, — говорит она.

— А почему я? Почему ты их сразу не захватила с собой?

Мама садится на подоконник и смотрит на меня как на предательницу.

— Я не могла захватить их с собой, потому что мимо шла Ксения Павловна из второго подъезда. И Люся гуляла с коляской, — тихо объясняет она.

Я подхожу к окну, выглядываю. Люси с коляской нет, Ксении Павловны тоже. Только две девчонки с совками в песочнице сидят.

Да и вообще — если туфли выбросили на помойку, почему мы должны, как воры, скрываться? Ну, взяли, померили — если не подойдут, то обратно отнесем.

Бабушка, видимо, услышала мои мысли и кричит из комнаты:

— Аня, а ты не заметила, какой размер?

Мама спрыгивает с подоконника и, снимая кофту через голову, идет в комнату.

— У меня не было возможности посмотреть размер, — стонет она, — я просто проходила мимо. Лиана, я прошу тебя, если ты сейчас не сбегаешь за ними, их кто-нибудь подберет!

— Лиана, ты слышишь? — подключается бабушка. — Надо скорей! А то унесут из-под носа!

Я, конечно, уже натягиваю сапоги в прихожей. Потом — три лестничных пролета вниз, двор пересечь наискосок, добраться до контейнеров, схватить серую коробку с чем-то черно-серебристым — и бегом домой.

Мама с бабушкой уже караулят меня у глазка в прихожей. Встречают, как воина-освободителя, — целуют, обнимают, только цветов не дарят.

Мама осторожно несет коробку в комнату, вынимает две черные атласные туфли и ставит перед собой. Туфли и правда волшебные. Наверное, снежная королева ходила именно в таких. Тонкий каблук заканчивается металлической пимпочкой, а по всему блестящему атласу прошиты серебряные линии.

Мы сидим втроем на кровати — мама в середине — и любимся каблуком и пимпочкой. Потом мама бережно берет туфлю и надевает на правую ногу.

— Не жмут? — бабушка пытается вставить палец между маминой пяткой и задником.

— Мама! Перестань! Мне сорок лет уже!

— Я просто хотела проверить, малы или нет, — оправдывается бабушка, — ты второй-то надень, Аня.

Мама надевает второй, встает и ходит, как манекенщица, стуча каблуками, по комнате. От окна к зеркалу и обратно. Мы с Галиной, не отрываясь, смотрим на мамины ноги.

— Вроде не похоже, что малы, — говорю я тихонько бабушке. — Когда малы, так не ходят.

Тут мама останавливается посередине комнаты, закрывает глаза и блаженно улыбается.

— В самый раз! — сообщает она так, будто только что выиграла путевку в Италию. А у самой ямочки на щеках. И у меня тоже ямочки. И у бабушки. Это у нас наследственное — если случается что-то хорошее, то по щекам сразу видно.

Мама включает свою любимую «Аббу», и мы танцуем, как в новогоднюю ночь после боя курантов. Дело в том, что все счастливые события у нас сопровождаются песней «Dancing Queen». У нас даже танец специальный есть, в стиле диско. Последний раз мы его исполняли в тот день, когда художник пришел к нам со своей книжкой. Той, что мама корректировала. А сегодня — вот, туфли.

Галина, конечно, с нами не танцевала, а сидела поскрипывала в кресле. Потом пошла на кухню, заглянула в холодильник и стала ворчать, что есть нечего. И мы стали вместе варить спагетти и жарить гренки с омлетом. Аппетит проснулся у всех, даже у бабушки, а пирожки к тому времени были все съедены.

Глава тринадцатая

День квартета, или Мы грустим о кахетинском винограде

Если у нас дома стоит огромный букет белых хризантем, значит, сегодня пятнадцатое октября, Кирин день рождения. А больше всего на свете Кира любит белые хризантемы. Она их любит даже больше, чем своего скрипача и ученика Арсения, который чувствует дно клавиши. Поэтому ровно пятнадцатого октября я спускаюсь в подземный переход и выбираю самые большие из всех белых хризантем.

День рождения у Киры начинается прямо с утра. Это значит, что мы с мамой могли заскочить к ней еще в семь тридцать, перед школой и редакцией, и у нее, будьте уверены, был бы уже накрыт стол с хрустальными вазами, салфетками и фужерами.

Целый день ей несут цветы, ноты, пластинки и неизвестно что в красивых упаковочных коробках. Ученики и музыканты приходят с утра, соседи заглядывают днем. А подруги к Кире не приходят, потому что у нее, кроме меня с мамой, нет подруг.

Каждый год пятнадцатого октября в семнадцать ноль-ноль в двенадцатой квартире за круглым столом собирается квинтет избранных. Это Кира так говорит. Квинтет — значит, пятеро. Кира, ее первый муж Мераб, ее второй муж Николай Николаич и мы с мамой. Сегодня мама в мастерской у художника составляет меню фуршета к выставке. Поэтому нас только четверо — квартет.

Мераб пришел тоже с хризантемами, только с желтыми. Сегодня он подарил Кире альбом живописи художников-сюрреалистов. Альбом толстый и дорогой. Это чувствуется по обложке, с которой, выпучив глаза и подняв усы на самый лоб, глядит Сальвадор Дали.

А Николай Николаич подарил серебряный браслет. Не простой, конечно, а старинный, с выдавленными узорами. Кира продела сквозь браслет гроздь винограда и поставила тарелку с фруктами на самое видное место. Это чтобы Николаю Николаичу было не так обидно, что альбом Мераба лежит на столике под торшером и мозолит всем глаза.

— Кирочка, подай-ка мне сыр, — ласково говорит Николай Николаич.

И пока Кира передает ему тарелку, в разговор вступает Мераб.

— А вы знаете, друзья, что во Франции и в Италии на сырной тарелке лежит не менее шести видов сыра! — произносит он нараспев и смотрит на меня.

— Что ты говоришь! — удивляется Кира. — Шесть видов!

— Да-да, твердые, мягкие и с плесенью, — с удовольствием заявляет Мераб и накладывает Кире салат.

— Как будто ты был во Франции, — хмыкнул Николай Николаич.

— Был, — дружелюбно говорит Мераб. — Лет пятнадцать назад. На конференции.

— Это на той самой? — спрашивает Кира, и они с Мерабом начинают смеяться. — Ты еще забыл свой пиджак, и пришлось выступать в рубашке с коротким рукавом!

— Потому что в чемодан ты положила мне только с коротким! — басовито гремит Мераб и заразительно хохочет. — Ты представляешь, Ник, там кондиционеры кругом, дует так, что охота тулуп напялить, а я в коротком рукаве!

— Да уж, история, — смягчается Николай Николаич и тянется к рыбе в маринаде. — А я вот помню, как у нас в отделении выбили окно. В шестой палате, прямо у ординаторской. Ну, ты помнишь, где у нас ординаторская, — обратился он Кире.

— Конечно, помню, там еще все время делали ремонт и никак не могли закончить.

— Да, так вот. Выбили окно. Прямо под Новый год. А мороз — под тридцать градусов. Стекольщика вызвали на завтра, а в палате больные, им как-то

переночевать надо. Что делать? — спрашивает Николай Николаич и обводит всех взглядом.

— Одеждами заткнуть! — предлагаю я.

— Дать стекольщику больше денег — за срочность, — говорит Мераб.

А Кира ничего не говорит, только смотрит на всех счастливыми глазами и переставляет тарелки на столе.

— В общем, расселил я эту палату по соседним. Там все равно только двое были, — успокаивает нас Николай Николаич.

— Так чего ж ты сразу не сказал? — не успокаивается Мераб.

— Про что?

— Про двоих! Это же сразу дело меняет!

— Тебе, может, и меняет, а мне — нет, — заявляет Николай Николаич и любовно смотрит на виноград в браслете.

Мераб отрывает одну виноградину.

— Итальянский, похоже, — отправляет черную ягоду в рот, тщательно жует и вздыхает. — Помню, когда мы еще жили на Шота Руставели, мама в воскресенье утром бегала на рынок. Покупала настоящий саперави. Черный как ночь.

— Чем же тебе итальянский не нравится? — спрашивает Николай Николаич и тоже тщательно жует виноградину.

— Настоящий саперави растет только в Кахетии, — грустно замечает Мераб.

И мы все печально жуем итальянские ягоды, думая о настоящем кахетинском винограде, который остался далеко-далеко в счастливом детстве Мераба.

— А давайте лучше что-нибудь споем! — говорит Кира и вытаскивает из кладовки гитару.

На гитаре играет Мераб, Кира поет романсы. А мы с Николаем Николаичем сидим и ждем, когда она начнет петь «Сулико».

— Давай сегодня по-настоящему, — предлагает Мераб. — Или забыла?..

Кира не ответила и запела по-грузински — грустно и нежно, как будто она сама бродила, спрашивая у розы и соловья про могилу любимой Сулико. Мераб перебирал струны и, закрыв глаза, тихонько подпевал. Он, наверное, вспоминал свой старый дом в Тбилиси, на улице Шота Руставели. Мы с Николаем Николаичем тоже пели, только по-русски, громко и радостно, — «где же ты, моя Сулико-о-о-о». И все наконец были счастливы — и наш квартет, и старое пианино, и Кириин шкаф с блузками, и вазы с хризантемами. И даже, пожалуй, этот усатый Дали на обложке.

Глава четырнадцатая

В которой я много думаю, вспоминаю лото, проваливаюсь в сон, а утром просыпаюсь и ищу Толю Маркова

Вот уже три дня на моем столе лежит узкий листок белого картона. «Уважаемая Лина, — выдавлено на нем старомодным почерком с размашистыми закорючками, — вы приглашены на выставку художника Игоря Бакина «Пробираясь к настоящему». Вернисаж состоится 11-го ноября, в 19.00 в мастерской художника. Приглашение действительно на две персоны». И — золотистая рамочка по краям.

Приглашениями занималась мама, так что ни одной ошибки, ни одной лишней запятой — все чисто и изящно. Это она так по телефону выразилась, когда заказывала типографии напечатать пятьдесят приглашений для самых близких.

— Все должно быть чисто и изящно. Ничего лишнего, — а сама брови выщипывает перед зеркалом.

В общем, то, что я оказалась в числе «самых близких», меня, конечно, жутко обрадовало. Положила на ночь пригласительную открытку под подушку, закрыла глаза, а там — я в лисьей шапке среди картин с лодками и розами.

А передо мной — куча народу, и весь наш класс тут же, и Вика с гладким пучком на затылке, и Степа в моем шарфе — стоят, восхищенно смотрят на меня, ждут. А я рассказываю, как непросто было выбрать из сотни роз всего двенадцать живых, тех самых, что дрожат от ветра. Но я справилась — вот, смотрите, все настоящее, и лодки, и цветы, и лестницы на чердак, и голуби на крышах! Все хлопают, улыбаются, и мама с художником в первом ряду — счастливая, в туфлях с серебристыми линиями. Вдруг — хлоп! — открываю глаза. Включаю светильник и в десятый раз перечитываю приглашение. Действительно на две персоны. На две... А где же я эту вторую персону возьму?..

Кира идет с Мерабом, это ясно, как дважды два. Из класса никого, кроме Степы, я бы не позвала. Но он с Викой, поэтому — отпадает. Марков?.. Странно, что он всплыл в памяти только сейчас, когда не с кем идти на вернисаж.

Я закрываю глаза — и снова вижу себя в лисьей шапке среди развешанных картин, а рядом — серьезный Марков рассказывает о том, как знаменитый астроном Чарльз Томас Коваль открыл множество сверхновых звезд в других галактиках... Ладно, придется завтра искать 10-й Б, — подумала я и снова засунула открытку под подушку. И достать плиссированную юбку. И голову еще с утра помыть... И взять у мамы духи с запахом лимона. Терпеть не могу, когда в парфюмерном магазине говорят «с запахом цитруса». Цитрус — это же и апельсин, и лайм, и мандарин, и они все по-разному пахнут! Была у меня воспитательница в детском саду, Ирина Вячеславовна, так от нее всегда пахло мандаринами, как в Новый год во всех квартирах. Она доставала из методкабинета тряпичный мешочек с деревянными бочонками, и мы усаживались на пол играть в лото. С тех пор всегда, как вижу цифру «одиннадцать», вспоминаю «барабанные палочки». А «сорок четыре» — значит «стульчики», «пятьдесят пять» — «перчатки». «Девяносто» — это «дед», «восемьдесят девять» — «дедушкин сосед». Что-то там еще было... «Двадцать два» — «утята», «сорок восемь — сено косим», «семь» — «топорик», «двойка» — «гусь, я на рынок тороплюсь»...

А утром мы проспали. Вместо семи утра встали в семь пятнадцать. И все пошло кувыркком. Удивительно все-таки, каким разным бывает время! Я давно замечала — вечером или в воскресенье пятнадцать минут пролетают легко и гладко, как ледянка с накатанной горы. Только что было три часа, а уже три пятнадцать. Ну и что? Продолжай себе читать, гулять, чай пить. Но утром, когда надо в школу, в пятнадцать минут умещается бездна дел! Можно и душ принять, и ресницы накрасить, и бутербродов с сыром нарезать целую дюжину.

Позавтракать мы, конечно, не успели, только стакан кофе один на двоих выпили. Волосы мои до конца не просохли, хотя мама сушила их феном, а я — двумя полотенцами. Хорошо, что у пальто Евгении Ивановны есть капюшон, почти такой же, как в фильме у накидок Джины Лоллобриджида.

— Что это у тебя? Откуда? — спрашивает мама, внимательно осматривая меня с ног до головы.

— Где?

— Вот это пальто — откуда? Ты его уже неделю носишь. Что-то новое из кладовки?

— Это Евгении Ивановны. Временно. У куртки молния сломалась.

— А где она?

— Кто? Евгения Ивановна?

— Куртка!

— Папа должен сдать ее в ремонт. В воскресенье заберу.

— Напомни ему, он может забыть, — советует мама и аккуратно завязывает мне на талии пояс. — И послезавтра выставка — ты помнишь? Решила, с кем пойдешь?

— Решила, — я беру мамин розовый блеск и быстро крашу кисточкой губы прозрачной смесью. Сейчас от меня пахнет карамелью. Ну, пусть хоть так, на поиски лимонных духов все равно нет времени.

После физики бегу к расписанию, потом — прыжками через ступеньку на третий этаж, где в кабинете химии должен быть весь 10-й Б, включая Толю Маркова. И даже почти не страшно, только в животе тукает, как на кроссе перед забегом. Топчусь на месте, потом, как перед прыжком, собираюсь и громко спрашиваю парня с длинными волосами про Маркова.

— Марков? Толя? А его, похоже, сегодня нет, — длинноволосый прищуривается и смотрит на меня сверху вниз. — Надо у Гальки спросить, она все знает. Галь! Здесь Марков нужен!

— Зачем он тебе? — неожиданно слева появилась Галя в серых колготках. Колготки хорошие, плотные, дымчатые. И юбка правильная к ним — темно-синяя, выше колен. Я, видимо, так внимательно смотрела на Галины ноги, что она сама уставилась на свои коленки — а вдруг там дырка или затяжка?

— Не важно, — отвечаю. — Нужен, и все.

— Марков болеет, — говорит она таким тоном, будто объясняет первоклашкам правила дорожного движения. — У него бронхит. Хронический.

— Хронический?.. — повторила я, прикидывая, насколько это может быть серьезно. — А долго он болеть будет?

— Неделю точно. Он только вчера заболел, — сообщает Галя и оценивающе смотрит на мою плиссировку.

— Ясно. Неделя — это долго, — бормочу я.

— Может, тебе телефон его дать? — сжалилась Галя. — У Красновой можно узнать, она ему домашку диктует.

— Нет, пока не надо. Спасибо. Классные колготки.

Последнюю фразу я, конечно, вслух не говорила, а подумала про себя. Еще я подумала, что вариант «я и Толя Марков на выставке» провалился по уважительной причине. И что нужно искать следующий. И этот следующий — мой отец.

Глава пятнадцатая Папа, папа!

Если хорошенько замататься в шарф и спрятать мешок со второй обувью в сумку, то можно сойти и за студентку-первокурсницу. Это я поняла, когда вахтерша, перевязанная крест-накрест пуховым платком, крикнула мне вслед:

— И не стыдно опаздывать? Ведь не школьница уже!

Потолки в университете высоченные, лестницы широкие — все как в оперном театре, только без хрустальных люстр с лампочками-свечами. Расписание висит на втором этаже под стеклом, как громадная карта мира, — это тебе не 10-й Б искать. Долго вожу пальцем по стеклу, пока не натыкаюсь на свою фамилию. Коваль П.Л. Зарубежная литература, XX век.

П.Л. — значит Петр Леонидович.

Четыреста вторая аудитория — это четвертый этаж. Дверь чуть приоткрыта, и я вижу профиль моего П.Л. Он стоит у окна и что-то увлеченно рассказывает. Машет руками. Мама бы сейчас поправила — «не машет руками, а жестикулирует». Но сути это не меняет — П.Л. с таким жаром говорит, как будто он только что вернулся из космоса, а перед ним — наивные земляне.

Однажды я сидела на папиной лекции среди студентов. Было очень тихо и торжественно. У нас так бывает на годовой контрольной. Только на контрольной тихо оттого, что все боятся не успеть и получить «неуд», а здесь — все из-за отца. Студентка передо мной сидела и довольно громко перелистывала страницы в тетради, так на нее кто-то зашипел — не шуми, слушать мешаешь! Наверное, П.Л. действительно говорил тогда что-то важное, хотя я ничего не поняла. Запомнила только два красивых, хрустящих слова — фрустрация и постмодернизм.

— Не бойся, заходи, Леонидыч пустит.

Оборачиваюсь — за спиной стоит парень в красной футболке с надписью «Freedom». Улыбается.

— А я не боюсь, — говорю. Но в щель больше не смотрю.

— Опоздала? — спрашивает парень заботливо. — Я тоже. Пошли вместе, просочимся по стенке на галерку.

— Я вообще-то отца жду, — не знаю, почему я вдруг сразу выложила это-му в футболке все, как есть. Так бывает — слова сами произносятся.

— Отца? — удивился он и присвистнул. — Так Леонидыч — твой отец? — и опять просвистел какую-то мелодию. Если честно, то он здорово свистел, этот парень, — чисто, без лишних звуков. Я так свистеть не умею.

— Да, Леонидыч — мой отец, — говорю. — А что тут такого?

— Жди здесь, — приказал он и быстро прошмыгнул в дверь, я даже сказать ничего не успела.

Через пять минут мы уже сидели с П.Л. в буфете и уплетали картофельное пюре с котлетой. Точнее, уплетала я, а отец пил кофе и помечал что-то в своем толстом блокноте. Никак не ожидала, что из-за меня он отменит лекцию. Вместо того чтобы диктовать студентам свои непонятные хрустящие слова, он сидит и смотрит, как я ем. Как в детстве — тогда он тоже терпеливо ждал, когда я закончу с кашей. И тоже писал в блокнотах, тетрадках, на маленьких листочках. Даже в мой альбом с рисунками что-то нацарапал, а потом не мог найти. Мама нервничала, перетряхивала книги, собирала по дому все бумажные клочки, пока не увидела нарисованного мной зайца, а сверху, прямо на заячьих ушах, — убористый почерк отца. Я помню этот день. Отец подбрасывал меня вверх, мама счастливо смеялась, а потом мы пошли в кафе есть мороженое. Маме — малиновый шарик, мне — шоколадный, папе — два фисташковых...

— Пирожки с джемом будешь? — спрашивает отец.

— Буду! — бодро отвечаю я.

Отец одобрительно кивает и просит Катеньку подогреть два пирожка.

— Петр Леонидович, чай с лимоном? — кричит Катенька из-за буфетной стойки.

— Обязательно с лимоном! И с сахаром! — требую я, и мы все втроем смеемся.

Мне кажется, отцу нравится, когда я прихожу к нему на работу. Он сразу меняется, становится выше ростом и всем с гордостью показывает меня:

— Вот, прошу запомнить — Лина Коваль, моя дочь!

Я улыбаюсь и молча слушаю, как папины седые коллеги сравнивают наши носы, волосы и глаза. И все почему-то думают, что я буду поступать на филологический и что мне так же, как отцу, не терпится прочитать кубометры книг. А я ничего не сообщая по этому поводу, потому что не хочу никого разочаровывать.

— Пап, у меня просьба, — приступаю я наконец к делу. — Одиннадцатого числа у маминого художника выставка. Там приглашение на двоих. Пойдешь со мной?

Отец откладывает блокнот и начинает протирать очки. Это значит, что он думает. Или волнуется.

И внезапно я понимаю, что предлагать ему пойти на эту выставку глупо и даже жестоко. То же самое, что пригласить маму на лекцию Евгении Ивановны. С какой стати? Что он будет там делать? Стоять в уголке и протирать очки?

Эх, Лина, Лина... Сначала подумай — потом сделай. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Тише едешь — дальше...

— Ты понимаешь, какое дело, дружиче, — ласково начинает отец. — Я бы с удовольствием составил тебе компанию, правда. Но у меня как раз одиннадцатого заседание кафедры. — Он замолкает, надевает чистейшие, отполированные мягкой салфеткой очки и начинает барабанить пальцами по столу. — Только если пропустить его. А? Ну его к черту, это заседание! — и он

смотрит на меня так же, как смотрел парень в красной футболке, — весело и бесстрашно.

Тут я не выдержала, вскочила со стула и бросилась его обнимать.

— Папа, папа! Какой же ты у меня! Ты же просто клад! Ни у кого такого нет!..

Отец тоже разволновался, но ничего не говорил, только бурчал:

— Осторожно, Лина, кофе прольешь...

Хорошо, что в буфете не было никого, кроме Катеньки, которая смотрела на нас и улыбалась.

— Пап, ты только не пропускай заседание, пожалуйста. Не надо. Я лучше одна пойду на эту выставку, — говорю я, когда снова усаживаюсь на место.

— А этот... как его... Егор. Или Иван. Ну, из твоего класса, турист-гитарист, — отец, видимо, проголодался и принялся за мои пирожки.

— Степа? — подсказываю я.

— Да! Почему бы тебе не пойти туда со Степой?

— Он не согласится.

— А ты спроси. Прямо сейчас.

— Сейчас? — удивляюсь я.

— Сейчас. Позвони и спроси. Я бы так и сделал, — говорит отец и допивает уже остывший кофе. — А чего бояться? По лбу же он тебе не даст!

По лбу не даст — это верно. Но все равно страшно. Вот бывает так, что обычные, безобидные вещи кажутся самыми сложными. Найти 10-й Б, чтобы позвать Маркова, было легко, а позвонить Степе — трудно, будто кто-то и вправду держит наготове огромный молоток. Только наберешь номер — и тут же получишь по лбу...

— Привет, Ковыль, — услышала я в трубке после трех нудных гудков. — Давно не виделись.

Здесь у меня вспотели ладони, задрожали колени и заурчало в животе. Смотрю на отца, а он, как клоун, подмигивает двумя глазами сразу. Подбадривает, значит.

— Привет, — я, когда волнуюсь, всегда говорю громко, поэтому Катенька обернулась и тоже начала мне подмигивать. — Ты послезавтра в семь свободен?

— Послезавтра в семь? — он даже не удивился, будто отвечать на такие вопросы — самое обычное для него дело. — Свободен вроде бы, а что?

— Ты мне нужен, — чеканю я в трубку, и колени уже не дрожат, и вообще, хочется подпрыгивать до потолка и кричать детские считалки.

— Я? — уточняет Степа. — Я тебе нужен?

— Да, ты мне нужен. У меня приглашение на выставку художника Игоря Бакина. На две персоны.

— Ну.

— Ты — вторая персона, — терпеливо объясняю я, а отец снова протирает сверкающие очки.

В трубке начало шебуршать — он что, там птиц разводит? — а потом веселый Степин голос произнес:

— Ладно, Ковыль. Я понял. Одиннадцатого, в семь, — и отключился. А я сидела не шевелясь, с трубкой у уха и не могла вымолвить слова.

П.Л. заговорил первым:

— На! Золотом! Крыльце! Сидели!

— Царь, царевич!

— Король, королевич!

— Сапожник, портной!

— Кто! Ты! Будешь! Такой! — кричали мы хором, и вместе с нами радовался-звенел звонок с лекции, которую фантастический, никем не заменимый П.Л. прогулял из-за меня.

Глава шестнадцатая Пробираясь к настоящему

Джинсы должны быть узкими. Это не обсуждается. Просто узкими — и точка. Сверху — что-то яркое. Короткое летнее платье с бабочками и маленькое черное болеро.

— Мило, но не восторг, — комментирует Кира вариант с бабочками.

Снова ныряю в кладовку. После моих переодеваний здесь полная революция. Полки с перчатками и сумками завалены разноцветным комом одежды. Платья с концерта «Аббы» покорно упали на старые ковбойские сапоги, а вязаные пончо крепко обнялись с ворохом джинсовых юбок.

— Линочка, а как насчет чего-то женственного? — кричит Кира из комнаты, и я влезаю в темно-зеленый трикотажный сарафан.

Тонкий черный ремешок хранится в правом ковбойском сапоге. Да, вот он, я его еще летом сюда спрятала.

— Тебе очень идет зеленый! — воскликнула Кира, когда я, красная и растрепанная, выплываю из кладовки и останавливаюсь перед зеркалом.

Да уж, в этом только царевну-лягушку играть, только короны на голову не хватает. Кира будто слышит мои мысли и продолжает:

— Хотя это больше смахивает на карнавал. А у нас — выставка картин. Нужно что-то яркое, но в меру. Простое, но со смыслом.

Легко сказать. Мама вчера тоже перемерила все, что есть в шкафах и моем музее, и, не найдя ничего подходящего, в панике побежала в двенадцатую квартиру. Кира была в своем репертуаре. Она налила в большую глиняную кружку травяной чай и усадила маму под торшер, в свое волшебное кресло. Сама забралась на стул и стащила с шифоньера старый коричневый чемодан. А в нем — сокровища. Ажурные чулки, два золотых браслета, длинные жемчужные бусы — и прекрасное синее платье! То, что оно прекрасное, стало понятно, как только мама его надела. Вырез лодочкой, рукав до локтя, юбка в складку чуть ниже колена и такой же темно-синий, в тон платью, замшевый пояс!

— Как из института благородных девиц! — говорю я маме, которая не отходит от Кириного трюмо. — В музее есть такие платья!

— Не в музее, а в моем чемодане, — гордо поправила Кира.

Жаль, что в ее чемодане не нашлось ничего для меня, — подумала я. И в тот же миг увидела прищуренный глаз. Он хитро смотрел из-под кистей серого пончо. Хватаю глаз, тяну что-то черное, с пестрыми перьями, вытаскиваю — туника. Длинные летучие рукава, и повсюду разбросаны жар-птицы.

Кира осматривает меня, просит медленно повернуться, пройтись от зеркала до окна.

— София Ротару, семьдесят восьмой год, — выносит она приговор. — И по-моему, это идеально подходит!

Я верю Кире, хотя в семьдесят восьмом меня еще не было на свете.

Мы находим в кладовке когда-то купленную в подвале синюю, из искусственного меха, куртку и высокие сапоги на каблуках. Волосы расчесываю на прямой пробор, а Кира повязывает мне на голову плетеную ленточку — как у хиппи.

— Вот сейчас законченный образ! — радуется она, глядя на творение своих рук, а потом убегает, потому что должен зайти Мераб, которого нужно напоить крепким кофе, и еще отгладить атласную темно-вишневую блузку.

Когда я на каблуках, без шапки и с тремя красными розами подошла к магазину-мастерской, Степа уже стоял возле двери с колокольчиками. У него тоже были розы, нежного кремового цвета. Не знаю, для кого он их принес — для Игоря или для меня. Спрашивать было неудобно, поэтому я просто взяла у него букет и соединила со своим. Получилось шесть.

— Так не дарят, — сказал он, внимательно изучая на мне синий мех. — Оставь себе одну.

И мы зашли внутрь. А там — повсюду люди. Стоят по двое и по трое у витрин с кисточками, у деревянных мольбертов, у стендов с бумагой и красками. На лестнице, ведущей на второй этаж, тоже стоят. И все — с бокалами. Мы снимаем куртки, кидаем их на большие вешалки с чужими пальто и поднимаемся вверх.

В мастерской людей еще больше. Пахнет духами и шоколадом. Пробираемся к стене с картинами, и я чуть не сбиваю ряды фужеров с вином. Оказывается, я наткнулась на столик с угощением. Многоэтажные вазы с нарезанными фруктами, маленькие розовые бисквиты, пирожные с белыми кремовыми шапками, черные маслины и сыр на палочках, креманки с присыпанными шоколадной пудрой тирамису. Я видела такие столы в американских фильмах, где свадьбы устраивают на зеленом газоне у дома, а в самый волнующий момент выносят огромный белый торт с марципановыми фигурками жениха и невесты.

— Лина, Степа! — послышался из толпы мамин голос. — Идите сюда!

Пока я искала глазами синее платье, Степа взял со столика два бокала и потянул меня в сторону лодочной серии. На фоне лодок и плывущих облаков стоял художник и рассказывал перед камерой о выставке. Справа, почти в углу, я увидела маму и Киру с Мерабом.

— Добрый вечер, — сказал Степа и вручил маме букет.

И только в этот момент я заметила, что на Степе отглаженная белоснежная рубашка, узкий черный галстук, строгие брюки со стрелками и начищенные ботинки. Группа «Битлз», шестьдесят третий год, как сказала бы Кира. Но Кира ничего не сказала, лишь звякнула своим бокалом о мой и Степин. И мама звякнула. В синем платье из Кириноного чемодана, в туфлях, найденных во дворе, с крохотными жемчужинами в ушах и на шее, она была неотразима. Мы вообще были там симпатичным квинтетом — наверное, поэтому нас со всех сторон щелкали люди с фотоаппаратами.

— Пойдем, я покажу тебе розовую серию, — предложила я Степе, и мы пошли к противоположной стене, где висели розы и голуби.

— Смотри внимательно, лепестки должны шевелиться, — предупредила я Степу на ухо.

— Шутишь, — буркнул он и отпил из бокала.

— Серьезно, только смотри вглубь, в самую сердцевину.

Мне очень хотелось, чтобы Степа увидел розы живыми, такими, какими их увидела я в тот вечер с сосисками. Я сделала глоток желтого вина (никогда не понимала, почему его называют белым, — оно же янтарного цвета), две секунды подержала его рту, а потом проглотила. Вино было кислым и терпким, но все его пили, потому что так положено на вернисаже.

— А зачем ему столько роз? — спросил Степа. — Они же почти одинаковые.

— В том-то и дело, что почти, — говорю я. — Их было еще больше, пришлось выбирать самые-самые. Поэтому и выставка называется «Пробираясь к настоящему».

— Ясно, — вздохнул Степа и стал задумчивым. Может быть, оттого, что ему не удавалось поймать дрожащие от ветра бутоны. — Ты классно сегодня выглядишь.

— Это хиппи, — засмеялась я, — дети-цветы. Ты тоже неплохо смотришься. Рубашка, галстук и вообще...

— Я еще извиниться хотел. Ну, за ту выходку. С шарфом, — сказал он и посмотрел мне в глаза. — Про соседку твою напелл чего-то... Не знаю, как это все вышло, — зашкалило меня, понимаешь?

У меня опять запрыгало в животе, как тогда, в буфете. Но кричать детские считалки я не стала — не та ситуация. Просто стояла и улыбалась, а на щеках наверняка были ямочки.

— Ладно, забыли, — сказала я и легонько хлопнула Степу по плечу. — А с соседкой-пианисткой ты уже познакомился, вон она, в вишневой блузке стоит, рядом с бородатым мужчиной.

И тут, словно в подзорную трубу, я увидела маму. Она стояла рядом с Кирой, смотрела на проходящих мимо гостей, что-то кому-то отвечала. Перехватив ее взгляд, я все поняла — ей хотелось снять туфли, уйти в укромное место, где нет ни картин, ни людей, ни бокалов, и долго сидеть в тишине. Художник стоял на том же месте, у лодок, только камеры уже не было. Зато рядом была блондинка в сиреновом платье, с пирожным в руках. Она откусывала от бисквита, подставляла ладони, чтобы не крошить, и смеялась. И Игорь смеялся вместе с ней.

— Мама! — крикнула я через всю мастерскую. — Мама, пойдем к нам!

Видимо, я довольно громко крикнула, потому что все отвлеклись от разговоров и уставились в нашу сторону. А я и сама не знала, зачем кричу. Просто хотелось сделать что-то особенное, увести маму далеко-далеко, чтобы она не грустила здесь в Кирином синем платье, а радовалась и шутила. Или танцевала «Dancing Queen»...

Когда я волнуюсь, я плохо соображаю. Мне кажется, это у всех так. Вот и сейчас — мне казалось, что мама, и Кира с Мерабом, и художник с блондинкой, и незнакомые люди — что все подошли к нам со Степой и обступили нас плотным кольцом. А оказывается, это я пересекла комнату, и вокруг меня образовался круг.

— Аня, это твоя девочка? — щебетала блондинка в сиреновом, с бисквитными крошками на губах. — Какая взрослая! И какая красавица! Как тебя зовут?

Я промолчала, а Игорь произнес:

— У нее прекрасное имя — Лина.

— А главное — редкое! — сказал кто-то из гостей, и все засмеялись. Как будто только они знают эти навязчивые диалоги из «Иронии судьбы».

— Между прочим, Лина помогла мне отобрать картины для выставки, — продолжал сквозь общий смех Игорь. — У нее отличный глаз. Видит главное.

— Правда, Лина? — заулыбалась мне блондинка.

— Да, я вижу главное, — ответила я. — И сиреневый хорошо смотрится только в новогоднюю ночь.

Все сразу замолчали, и у меня выскользнул бокал — не знаю, как он до сих пор болтался в руке, я про него начисто забыла. Кольцо тут же расступилось, а я бросилась бежать вниз — мимо столика с угощением, мимо лодок, платьев, душистых причесок и огромной вазы с цветами. Уже залезая в синий меховой рукав, я услышала наверху мамин голос, который тревожно говорил кому-то:

— Да принесите же щетку или веник! Нужно убрать осколки, пока никто не порезался!

Потом я толкнула дверь с колокольчиками и вышла наружу, на улицу Васильева.

Фонари уже горели мягким розовым светом, люди, закутанные в разноцветные шарфы, куда-то спешили. Было так, как бывает за десять дней до Нового года, — будто сдернули прозрачную пленку, и мир стал громким, ярким, отчаянным. Просто сегодня пятница — вот и весь секрет.

Я села на скамейку напротив «Марса». Сюда всегда садятся бабушки в черных шляпках, о которых я сочинила столько невероятных историй. Одна была особенная — про семидесятилетнюю гардеробицу оперного, нашедшую в одном из театральных биноклей огромный бриллиант. На этот бриллиант она купила на острове заброшенный замок и поселилась там, подальше от шумных внуков. Расчистила от мусора старый камин, открыла ржавым ключом заросший паутиной погреб — а там бочки с виноградным вином, может быть, даже саперави...

— Вот ты где, — услышала я сзади, — а я тебя по всей улице ищу. Так и знал, что сидишь где-то здесь.

Степа. Ну, конечно, Степа, а кто же еще? Бегал, бедный, по улице Васильева, искал меня, а я тут сижу, старушек вспоминаю...

— Ты в порядке?

— Угу, — откликнулась я.

Говорить совсем не хотелось. И Степа это понял.

— Держи, захватил перед уходом, — сказал он и протянул мне креманку.

— Тирамису, — пробормотала я.

— Наверное. Там последняя оставалась, — и достал из кармана чайную ложку. — Вот.

Молодец, Степка, ничего не забыл, — думала я, отделяя ложкой маленькие кусочки от шоколадной массы. Где-то я уже такое видела. Давным-давно, в старом черно-белом фильме про Золушку. Когда карета превратилась в тыкву, а кучер — в крысу, когда исчезло бальное платье и хрустальные туфельки, она, грустная и чумазая, ест мороженое, что прихватил для нее ученик феи, мальчик-волшебник...

Глава семнадцатая

В которой все грустят и ухаживают за мамой

После выставки все изменилось. Жизнь стала печальной и бессмысленной. Мама вовремя приходила с работы, снимала свое серое французское пальто и, не переодеваясь, ложилась на диван. Она лежала, смотрела в потолок, в стену и ничего не говорила. Отвечала лишь «да» и «нет».

— Мам, это все из-за меня? Из-за разбитого бокала?..

— Нет.

— Тебе котлету разогреть?

— Нет.

— А пирожки с капустой?

— Нет.

— А чай с малиной будешь?

— Да.

И так все время.

Бабушка приходила каждый день, разгружала на кухне тяжелые сумки и садилась в кресло. Сидела тихо, не раскачиваясь, иногда засыпала и мирно похрапывала. Она приносила картофельное пюре, теплую пшеничную кашу, термос с заваренным шиповником, котлеты, сырники, пирожки. Съесть это все не получалось, поэтому часть еды я относил Кире, у которой появились два новых ученика. Каждый день за стенкой звучали тоскливые мелодии, и чем больше сырников и пирожков я приносила, тем тоскливее становились пьесы.

— Почему бы вам не разучить что-нибудь веселое? — тихонько спросила я Киру в прихожей.

— Тебе не нравится Шопен?.. — удивилась она.

Шопен мне в целом нравился, но сейчас в нашей молчаливой квартире он звучал жалобно и печально.

В школе тоже было серо и уныло. Степа уехал с отцом в Японию. По делам — так сказал он по телефону. А еще спросил, что мне привезти. Я, кроме сакуры и поэта Басё, ничего про Японию не знаю, поэтому ответила — ничего. Он хмыкнул и посоветовал не падать духом. Постараюсь, — пообещала я. И хотя я старалась из всех сил, дух почему-то падал все ниже и ниже.

Кира заходила каждый вечер, садилась на стул возле мамы и рассказывала разные истории. Истории были в основном про женщин, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. Одна из таких женщин занялась йогой и стала спокойной, как удав. Да-да, — уверяла Кира, — ничто не может ее вывести из равновесия. Или вот еще одна, та с головой ушла в работу, сейчас не знает, куда деньги складывать.

— Пусть с нами поделится! — выныриваю я из «Горя от ума», откуда выписываю все пословицы и афоризмы.

— Линочка, не отвлекайся, — говорит Кира и замолкает, вспоминая новую историю.

Но я уже не могу не отвлекаться, мне тоже хочется сказать что-то жизнеутверждающее.

— А вы знаете, почему говорят «спокоен, как удав»? Удавы при низких температурах становятся очень медлительными и находятся в полусонном состоянии, — торжественно сообщаю я.

— А при высоких температурах? — уточняет Кира.

— А при высоких, — отвечаю, — они беспокойны, как удавы.

По-моему, никто, кроме меня, не оценил нового афоризма, и я возвращаюсь к Грибоедову, а Кира — к разным историям. Просто удивительно, сколько всего происходит в жизни! Одна женщина, по словам Киры, продала квартиру и отправилась странствовать по свету. До сих пор путешествует. Я тут же представила, как мы с мамой, бездомные и счастливые, с рюкзаками за спиной гуляем по Риму и фотографируем наволочки напротив Колизея. Картинка, яркая и правдоподобная вначале, через несколько секунд расплылась в тусклое, серое пятно. Да разве сможем мы навсегда проститься с любимой улицей Васильева, с настурциями в окнах нашего дома? А Гертруда, поляна с ранетками, штрудели в «Марсе»?.. И хотя мама все время молчала, я уверена, что она так же, как и я, не согласилась бы на такие перемены.

Через неделю после выставки зашел отец. Он, как и бабушка, принес тяжелые сумки со всякой всячиной. Шумел на кухне, выставляя в холодильнике стройный ряд банок с вареньем — абрикосовое, земляничное и мамино любимое, с розовыми лепестками. Вытаскивал из пакета аккуратно утрамбованные Евгенией Ивановной блинчики, пахучие апельсины, темно-красные гранаты.

— Аня, ты ужинала? — робко спросил отец из кухни.

Мама повернулась на другой бок и ничего не ответила.

— Может, гранат будешь?.. — отец зашел в комнату и растерянно остановился в двух шагах от дивана.

— Давай гранат, — вдруг согласилась мама.

Я, чтобы не мешать, вышла во двор — пусть поговорят спокойно. Устроилась перед песочницей на скамейке, надела перчатки и открыла наугад темно-зеленую книжку Басё, которую прихватила с собой. Страница пятьдесят девять, сверху:

Совсем легла на землю,
Но неизбежно зацветет
Больная хризантема.

Сверху посыпались снежинки. Сiju и, как в детстве, выставляю язык — ловлю их. Гертруда тоже ловит, только не языком, а ветвями, покрываясь тонким слоем белой бахромы. Снежинки собираются вместе и припудривают старый, покосившийся грибок, высохшую листву, землю и сероватые страницы раскрытой книги. Все белеет, даже черные строчки японских стихотворений...

Глава восемнадцатая Вишневая картина

Странно, всего десять дней прошло с того вечера, когда меня угораздило разбить здесь бокал, а кажется, будто прошел год или два. Снова пахнет краской и спиртом. Вдоль лестницы составлены завернутые в бумагу багетные рамки.

Вчера Кира шепнула мне по секрету, что Игорь-художник уезжает в Берлин. Скорее всего, надолго. Может быть, навсегда. Там, в Берлине, будет

огромная комната, где он сможет повесить все свои девятнадцать роз и пятнадцать лодок. И не надо будет искать живые холсты.

И вот я стояла почти на том же месте, где злополучный бокал разлетелся на стеклянные осколки, и не знала, что сказать. Художник сидел на полу и тоже молчал. Выглядел он неважно. Волосы торчали в разные стороны, как у моего тряпичного клоуна, футболка в серых масляных пятнах, на щеках отросшая щетина, глаза красные, с опухшими веками, будто он не спал со дня выставки. Все, что вертелось у меня в голове, пока я шла из дома к магазину с мольбертами, сразу скомкалось и исчезло. Я-то думала, он будет румяный, веселый, с приличным запасом ароматных сосисок в холодильнике. И огромные фирменные чемоданы на колесиках будут стоять внизу, предвкушая берлинские дороги, облака и мосты. А он — вот какой...

— Вы что, разлюбили маму? — произнесла я и сама испугалась своего голоса. В пустой комнате слова отскакивали от стен, как мячики, и повисали где-то у потолка.

— Нет, — тихо сказал художник.

— У вас роман с этой блондинкой в сиреновом платье?

— Нет, — вздохнул он. — Это моя сестра.

— Сестра? — повторила я. — А она не обижается на меня?..

— Нет, конечно.

— Тогда что случилось? Почему все так? Почему бы вам не поехать с мамой в этот Берлин?!

Я понимала, что вопросов слишком много, но иначе просто не могла. И вернуться в нашу квартиру с молчаливой мамой на диване тоже не собиралась. Лучше все знать, чем мучиться от неизвестности, — всплыла у меня фраза из какого-то фильма из Кириной коробки с видеокассетами. Вот так всегда. Ситуация серьезнее некуда, а в голове крутится — в каком кино я могла это слышать?.. Хорошо, хоть художник не был таким киноманом.

— Твоя мама — удивительная женщина, — начал он. — Гораздо удивительнее, чем я.

— Знаю, — сказала я.

— Да, гораздо удивительнее, — повторил он. — Она считает, что художник должен жить один. Поэтому не согласилась ехать со мной.

— Надеюсь, не из-за меня? — поинтересовалась я. И сразу представила, как весь класс провожает меня в Германию. Все плачут, даже Вика и Лилия-литераторша. А Степа долго-долго смотрит мне в глаза, и мы целуемся в аэропорту, прямо перед самолетом...

— Я бы увез вас обеих, — сказал Игорь. — Но Анна отказалась.

— Когда вы уезжаете?

— Через три недели.

— Значит, Новый год будете отмечать уже в Берлине, — подумала я вслух, а потом почему-то добавила: — Там тоже показывают «Иронию судьбы»?

— Не знаю. Думаю, нет. Я приготовил картину, — сказал он, вставая, — Анин портрет. Думал занести до отъезда, но раз ты пришла...

Художник подошел к стене и развернул один из холстов. На меня смотрела мама — счастливая и беззаботная, с ямочками на розовых щеках. Она была в вишневом платье. Это платье я знаю с детства. Оно шерстяное и слегка колющее. Помню, однажды мы пошли к зубному, долго сидели в очереди, и я прижалась к маминому плечу. Вишневые шерстинки щекотали кожу, впивались в щеку и в нос, но мне казалось, что уж лучше это, чем зубоврачебное кресло.

— Красиво, — прошептала я. — И очень похоже.

— Правда? — обрадовался художник.

— Правда. А она... одна?.. — спросила я, вспомнив «лодочные» и «розовые» серии.

— Конечно! — смутился Игорь. — И вообще, ты знаешь, с этим покончено. Сейчас все будет в единственном числе.

— Ясно.

Потом мы завернули мамин портрет в плотную бумагу, и я понесла его домой.

Я шла по Васильева, крепко сжимая угол вишневой картины. И почему-то вспомнила, как начала писать эту книгу. Был октябрь, и солнце пронизывало медом тугой прохладный воздух. Мама шла рядом в клетчатом пальто и шуршала бумажным пакетом. Пахло ванилью, осенью, ветром. Так пахнет, когда должно произойти что-то хорошее, и ты каждое мгновение ждешь чуда. Вот и сейчас мне казалось, что с каждым шагом небо становится выше, улица — шире, звуки — громче и веселее.

В витринах появились зимние вещи. Из них, как из кубиков, декораторы складывали новые истории. Вот грустная девушка-манекен застыла среди чемоданов, а парень — не манекен, а самый настоящий — надевает ей на руки пуховые варежки. Счастливый! Я бы тоже хотела устраивать комнаты в витринах. Как в детстве — когда заполняешь картонную коробку самодельными стульями, зеркалами, подушками и только после того, как дом готов, заселяешь его куклами.

Чуть больше месяца осталось до Нового года. Возможно, поэтому двери магазинов и кафе хлопают так торжественно. В окне «Марса», в том самом, где мы с мамой сочиняли персонажей, видны на столике чашки и чайник. Видимо, те, кто пил чай, уже выскользнули из кофейни на улицу, а посуда осталась сплетничать и делиться своими чайными секретами...

А вот и чудо, которое висело в ноябрьском воздухе, — вздохнуло, закружилось и повалило прямо с неба мягкими снежными хлопьями. Чудо спешило, хватало за локти, подгоняло и смеялось, нашептывая улице: «Беги, беги!» И улица бежала, а вместе с ней мчались скамейки, арфы на крыше театра, манекены в витринах, вывески. И вишневая картина, укутанная пледом из бумаги, тоже торопилась, чтобы поскорее поселиться в нашем розовом доме...

Во дворе я встретила Ингу-антикваршу. Она помахала мне из окна своей серебристой машины и уехала. Гертруда молчала, но не сердито, а тихо и радостно, будто и ее дубовой души коснулось снежное счастье.

Первое, что я почувствовала, заходя в квартиру, был запах курицы, запеченной в духовке. Пуфик в прихожей был завален верхней одеждой. На кухне смеялись. Я осторожно прислонила картину к стене и зашла в комнату. Там были все. Хохочущий, с ромашками на фартуке, Мераб, Кира с полотенцем, из которого по одному соскакивали в вазу красные яблоки, отец, протирающий салфеткой очки, и даже Евгения Ивановна, которая вытворяла странные фокусы над горячей поджаристой курицей. За столом сидела нарядная мама и рассказывала что-то смешное. Вот почему все смеялись.

— Ну это же сказка! Сказка Андерсена! — звенела мама. — Нельзя писать «принцесса с горошиной», а только «принцесса НА горошине»! А он опять свое — хочу, чтобы осталось «принцесса с горошиной»!

— Он бы еще сказал — принцесса с яблоком, — сказал отец.

— Или в яблоке, — подхватила Кира.

— Принцесса в яблоке — это же гусеница! — воскликнул Мераб, и все снова захохотали.

— Линочка! — вдруг заметила меня Евгения Ивановна. — Ты голодная? Мы отремонтировали тебе молнию на куртке!

И тут в дверь кто-то позвонил. Вы замечали, что звонить можно по-разному?.. Бывает, сидишь в кресле, а тебя — раз! — и как холодным душем окатило от звонка в дверь. Или наоборот — позвонят, а такое чувство, словно щенок от ног от радости запутался. Звонки — они же, как люди, — бывают тревожными, невыспавшимися, гордыми или готовыми вот-вот расплакаться. Это был особенный звонок. Так нам еще не звонили. Так звонят, когда возвращаются домой после долгого кругосветного путешествия — врываются,

бросают пыльные рюкзаки, сбрасывают стертые кроссовки, бегут на кухню и там жадно пьют воду из-под крана.

Все перестали смеяться и почему-то посмотрели на маму, а она молча встала и пошла к двери. Мне казалось, она идет ужасно медленно, что прошел уже день или два, пока наконец дверь распахнулась, и в прихожую протиснулся наш художник.

— Вот, — сказал он и протянул мне шапку, которую я забыла в мастерской. — Никак не мог догнать, ты быстро бегаешь, — он устало улыбнулся и виновато посмотрел на маму.

— Да, Линочка хорошо бегают, у нее даже грамота есть за третье место в осеннем кроссе, — как всегда, вовремя вставила Кира.

Я оглянулась и заметила, что вся компания незаметно переместилась из кухни и застряла в дверном проеме нашей маленькой прихожей. Как в раме для портрета, подумала я.

— Я мимо киоска как раз шел... И — вот, — Игорь поднял руку с тремя сосисками в тесте, и мама уставилась на эти сосиски как на самое странное чудо, которое вдруг с нами произошло. — Я только не знал, что... гости, — продолжал бормотать художник, — но можно сбежать купить еще...

— Да хватит нам, еды полный холодильник, — это Мераб нарушил тишину миролюбивым басом. Он единственный сообразил, что маму надо как-то сдвинуть с места, расшевелить, и осторожно большим ромашковым животом расчистил себе путь к входной двери, чтобы взять сосиски, так и застывшие в воздухе.

И вдруг опять раздался звонок. Знакомый и надежный, как большая корзина с грибами. На этот раз дверь открыл Игорь, и сразу в квартиру закатился, как лесной орех, голос нашей Галины, а потом и она сама с выглядывающим из сумки термосом.

— Аня, снег на улице идет, хлопьями, как ты любишь, — заговорила бабушка, отряхиваясь. — Ну-ка, возьмите у меня, — подала она сумки художнику, хотя рядом стояли мама, Мераб и я. — Пирог с капустой испекла. Дай, думаю, зайду, опять небось в холодильнике шаром покати...

— Так, — внезапно по-деловому начала мама. — Все это, конечно, прекрасно, но торжественно сообщая, — и она обвела всех хитрыми глазами, — пока еда в этом доме не будет съедена, никто отсюда не выйдет!

И все стали смеяться — Кира, Евгения Ивановна, отец, Мераб, художник с мамой. Одна бабушка хмурилась и притворно удивлялась:

— А что здесь смешного, скажите, пожалуйста? Хохочут они... Сумасшедший дом здесь устроили — и хохочут!..

Я стояла, смотрела на свою большую семью и понимала, что в этой книге пришла пора ставить точку. И что все закончилось хорошо. И что нет ничего лучше, чем слышать мамин смех.

Эпилог, или Как мы жили дальше

Обожаю эпилоги. Всегда, когда читаю последнюю страницу, возмущаюсь — неужели и здесь нет короткой главы, где автор рассказывает о жизни героев после всего, что случилось?.. Как они там? Что делают, о чем мечтают? Ведь после книги все только начинается! Поэтому — обо всем по порядку.

Степа вернулся из Японии, и мы отправились кататься с ледяной горы. Я хотела надеть лисью шапку, а он буркнул: «Нет, Ковыль, это уж слишком». Пришлось снять и вернуть ее в музей, к черной фетровой шляпе. Мне кажется, она не слишком расстроилась.

Мама все так же работает корректором. Одевается снова в благородное серое, хотя я часто нахожу в ее шкафу яркие вещи, исчезнувшие недавно из кладовки.

Художник никуда не поехал. Когда он сердится или ссорится с мамой, то всегда грозит уехать в Берлин и обосноваться в просторной студии со стерильно белыми стенами. Мама кричит, что это шантаж, а я иду на кухню и ставлю чайник, потому что знаю — скоро они помирятся, и мы сядем пить чай с печеньем.

Кира с Мерабом решили снова пожениться. «Зачем тогда было разводиться?» — спросила я. «Затем, чтобы понять, что мы созданы друг для друга», — ответила Кира. Я хотела спросить про скрипача, но не стала. Должны же быть вещи, о которых не говорят вслух, правда?..

Отец с Евгенией Ивановной купили подержанную иномарку и сейчас учатся вместе на автокурсах. Обещают летом возить всех нас в лес за грибами.

А Толя Марков?.. А Николай Николаич? — спросите вы. У них тоже что-то постоянно происходит, но об этом когда-нибудь напишется новая книга. Это случится внезапно, в самый обычный осенний день, когда нос хочется спрятать в шарф, а лукавое солнце — в карман...